

ЮЛІЯ СТИРКІНА

ЕХІТ

ЗМІСТ

1. Листи подорожнього.....	5
2. Вірші.....	58

Листи подорожнього

Письма в пути

«But tomorrow may rain so
I'll follow the Sun...»
THE BEATLES

When night comes up through me,
When it comes up through the city,
When the sun is dying out of me,
Dying out of the city,
Leaning out sun-spotted bricks,
Drizzling through brunches and leaves,
Climbing up the city walls higher and higher,
When I feel falling up in the close sky,
When I feel melting like daylight, I'm
Absolutely sure you just have to be
Somewhere very close, even
Been hundred kilometers away...

Нечто вроде стиха, который пришел отчего-то на английском.

Вместо эпиграфов

«О женщина, глядящая тоскливо:
Мужчина нехорош, дитя сопливо» — Вероника Долина
«Не рядом надо стоять со мной.
То, что рядом, я не хочу,
То хочу, что вечно далеко» — группа «Колибри»
«Мужчины, которые уходят, мама,
Шлют мне открытки с Багам,
Оставляя после себя пустыню, мама,
Пустыню одиночества, огромную, как океан» — из песни Патрисии Каас
«Мы разъехались. Володя помучается, стишок напишет» — Лиля Юрьевна Брик
«Каждый пишет, как он дышит» — Булат Окуджава
«Як тебе не любити за ті карії очі,
Коли серце не хоче за ніким вже більш тужить» — старинное украинское танго
«Все во мне на Юго-Запад, только тело на Восток» — Светлана Голубева

Когда получаешь то, чего долго хочешь, чувствуешь радость. И еще чувствуешь — нет, не пустоту — ощущение приближения этой пустоты. Где-то затылком. И вопрос — чего бы еще захотеть, чтобы эту пустоту заполнить. Ибо постоянный поиск в процессе заполнения пустоты есть, по-моему, исконно женское желание.

Когда я пишу, то получаю то, что хочу. Альтернативно заполняю пустоту. Но писать без адресата неловко. Незачем. Чувствуешь еще большую свою бесполезность, чем обычно. Поэтому я пишу адресату. Условному. Условно-реально-материальному.

Где-то в середине лета, загораясь в солнечных лучах, по улицам летают белые пушистые звезды — семена чего-то. Должно быть, тополя на Плющихе. В детстве их называли «письмами». Из детства помню: сумеешь поймать «письмо» (от «Него», разумеется) — «прочти» и выпусти. Отправь далее, кому очень хочешь. О ком мечтаешь. И он его непременно получит.

Мои письма в никуда. Письма ни к кому. Письма себе, о себе, для себя, про себя.

Идешь, идешь, и вдруг, неожиданно для себя, подпрыгнешь, зажмешь пушинку в ладонь и глупо, по-детски радуешься. Оглядываешься: ни увидел ли кто, как взрослый человек ловит пух?

Вздохнешь. Рассмотрешь белый комочек. Расправишь, сдунешь. Проследишь взглядом: куда полетело письмо? Долетит ли до «Него»?

Если ты еще что-нибудь делаешь неожиданно для себя, эти письма — тебе.

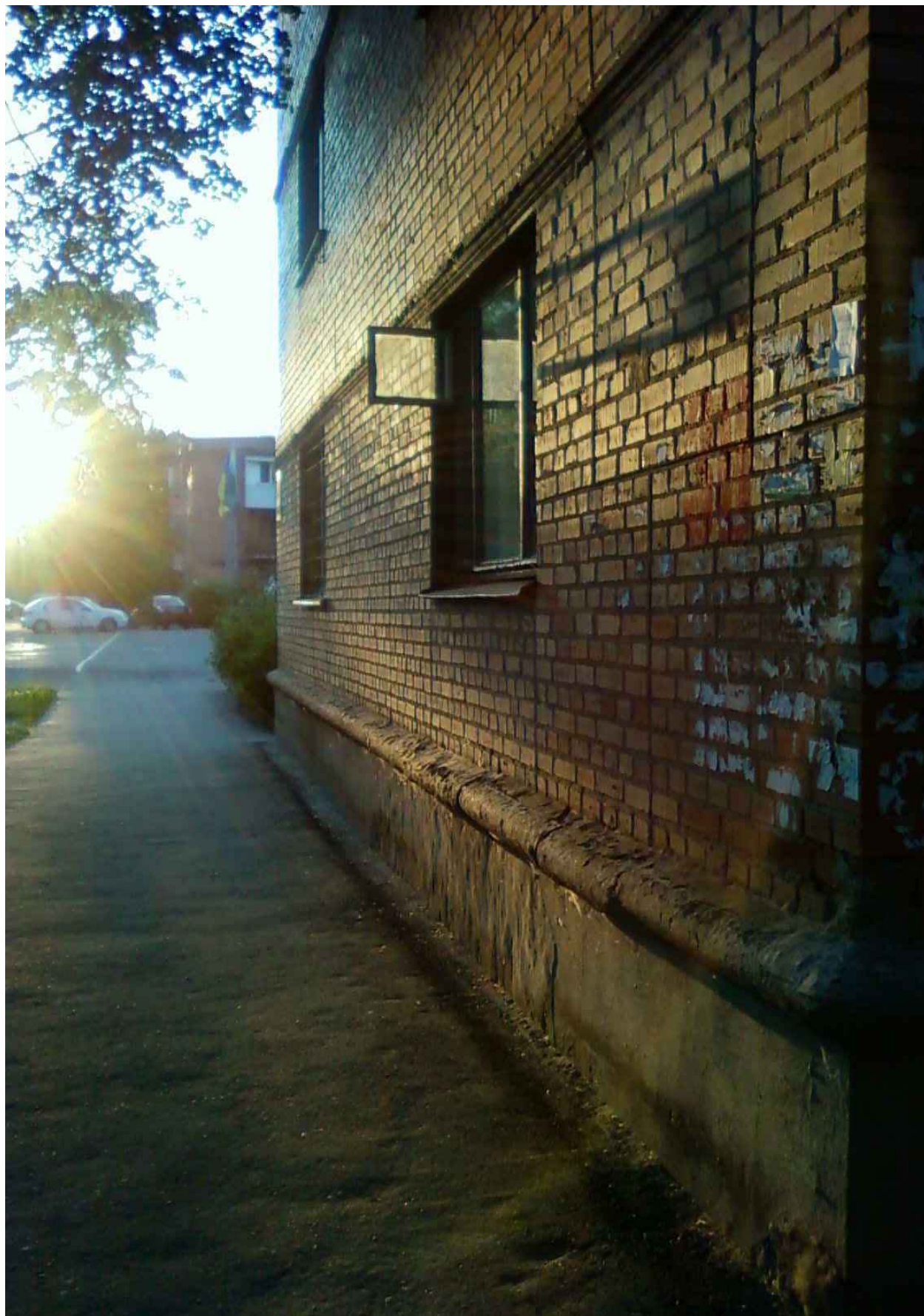
Нет — пусть летят мимо.

Проходи.

Или прыгай. Лови!

Письмо о запахах.

С детства неравнодушна к запахам. Слышу запахи, их тени, фантомы. В определенное время года слышу определенные запахи. Особенно тяжело бывает весной, когда «outside temperature rises», как пел Фредди. Все, что было в замороженном виде, размораживается и пахнет. Предметы начинают пахнуть собой. Открывается их сущность. Весной под любым благовидным предлогом (придуманной собой, для себя, незаметно для себя) — духи другу, подруге, себе, — идешь в магазин, перенюхиваешь и перебрызгиваешь все духи в наиболее привлекающих бутылках, поливаешь запястья, потом рукава, руки, и, в совершеннейшем дурмане, выходишь. Ничего, естественно, не купив, в абсолютно пьяном виде. Заснув, видишь яркие необычные сны, никоим образом не связанные с действительностью. Я часто вспоминаю мой любимый роман Золя, кажется, «Параду». Главная героиня, нарвав полную комнату цветов, закрывается в ней. И умирает. От любви, разумеется.





Первое скомканное письмо о любви.

Любовь — это роман. Кто-то пишет, кто-то читает. Любовь — это то, что ты хочешь сказать миру, не можешь не сказать. Что-то, что никто не хочет слышать, а кто внимательно слушает, тому не хочется рассказывать. Найти единственного сложно. Найдешь — дальше что? Обнюхать носиками, обтрогать усиками, прожевать внутренний мир, обрести недостающие грани и границы. И снова тесно. Снова некуда говорить.

Хочется ответной реакции. Без нее нельзя. А с ней начинается коррекция. Самокоррекция независимо от твоего желания. Заглядывание в глазки. А я хорошая (хороший), да? А вчера? А сегодня? А соответствовать? Живешь ради себя вчерашней. Повторить себя? Невозможно. Только первое, первые, глаза в глаза.

А дальше — тишина.

Совместное проживание, комфортное или не очень. Любовь? Любовь — это когда без нее уже нельзя. Любовь — это когда два незнакомых человека оказываются на необитаемом острове. Без трусов, носков, одежды, в голой комнате без обоев, картин, окон. На полу без подогрева.

Любовь возникает, когда нелюбовь уже переполнила всю посуду и льется через край. Нелюбовь — это все остальное. Все, кроме любви.

А поскольку необитаемые острова в океане, а комнаты без обоев в тюрьме, то любви нет. Мир устроен без любви. Сконструирован так, что она в нем не выживает. Как магнолии в средней полосе. Потому, что любовь — это свобода. Получается, ее нет совсем. Нигде. «Ну почему?» Лай-ла-лай. Извечно звенящий вопрос Земфиры.

Еще любовь — это мужчина и женщина. Не друзья. Не дети. Не родители. Человеку не нужен человек без признаков противоположного пола.

Письмо о книгах.

Никогда не могу от себя сказать, хорошая книга или плохая. Я подсажена на поглощение информации. Мне нравится практически все. То есть, конечно, не «Бесплодные усилия любви». Но очень многие вещи я впитываю, как губка, забираю свое, остальное — индифферентно. Не понравился Толстой. Ну что, бы, собственно, поставить лишнюю точку? Так нет. Пусть разбирают, недоросли. Пусть ищут в этой куче золотые зерна. Ну, или подлежащее и сказуемое, на худой конец. Ковыряют мозгами. Впрочем, может и верно, скорее всего, верно. Только недорослей от этого становится не меньше. Умные качественно умнеют, и пропасть продолжает расти. Между людьми вообще. Чужих людей становится больше. Оттого ставлю кругом точки. И со знаками препинания, кстати сказать, гораздо меньше проблем.

Из новых? Андрухович. «Двенадцать обручей». Поэзия в прозе. Но

он — мужчина. По мере взросления (или старения) феминизм становится как-то все ближе. Забужко. Также не затрудняет себя объяснениями, не пытается излагать проще. Что ж, «каждый пишет, как он дышит». Люблю ее, кого еще любить? Она тоже слышит музыку и, как может, ее пишет.

Кстати, Киплинг — индийский писатель. Жаль, что он сам об этом не знал. А может, знал. Наверняка знал. Но выбрал единственно возможную форму существования своего писательского и белкового тела. Я тоже. Не люблю думать, что и как надо сказать. Не люблю лжи. Себе, другим. Неискренности. Даже в форме этикета. Я не люблю. Когда железом по стеклу, кстати, тоже. У Высоцкого есть банальности, у кого их нет? Они, по большому счету, и составляют жизнь. Он тоже ходил по Гамбургской границе. И не просто ходил. Любил по ней ходить. По бордюру. Балансировать. А может, границы нет? Вечный вопрос.

И все-таки — Забужко. «Одна она, ее дремучий хаос».

Не понимаю, как можно любить все произведения одного автора, например. У каждого есть удачное и нет. Обычно удачны первые вещи, как и все первое. Первой любви, правда, не припоминаю. То есть, помню, что до осознания себя была влюблена. Платонически. Не взаимно. Конкретики не помню. Помню любовь к учителю рисования: дикое ощущение свободы, соединения с городом.

Письмо о городе.

Город лечит меня. От тревоги и беспокойства. Когда идешь, незамеченный, в пятничной расслабленной толпе на Белочку и с Белочки. Осенью или ранней весной, в легкой вечерней дымке. Когда люди светятся, рассеивая вокруг себя это чудо свободы. Двигутся сквозь лучи закатного солнца. Светятся старинные дома и скаты крыш. Атмосфера абсолютно курортная. Если я люблю, город прорастает в меня дорогами, фонарями, ощущениями; шумом голосов, машин. Город. Когда я люблю, я чувствую, как предметы овладевают мной, мы меняемся сущностями. Чувствую себя тротуаром, асфальтом. По мне едут машины, стучит дождь. Меня ласкает свет фонарей. Иногда мне кажется, что я чувствую всех людей, которые когда-либо жили здесь, в моем городе. Умершие продолжают жить рядом. Особенно те, кто любил этот город. Но я не хотела бы в нем быть ПОТОМ. Я хотела бы быть на море.

Первое письмо о Крыме.

На море я поехала лет в 14, как обычно, влюбленная (на сей раз в одноклассника). Он, разумеется, об этом не знал, да и слава Богу. Ибо был развит только в физическом отношении. Уже просматривались широкие плечи и узкий таз, которыми я и любовалась совершенно безотчетно, попутно марая бумагу словесным мусором.

Родители наконец-то взяли меня, до этого ездили сами. Наслаждались жизнью без меня. Я оставалась с бабушкой, которой было

нужно «щоб дитина їла, спала і не бігала далеко». Предоставленная сама себе, я запихнула в нос косточку от вишни и ждала, пока из нее вырастет вишневое дерево, как у оленя на голове. Помните, «Мюнхсгаузен» — вообще мой любимый фильм. «Мы слишком серьезны, господа», помните? Ну вот. Дерево не выросло, сопли текли ручьем, бабушка зарядила в меня очередную порцию антибиотиков, и неизвестно, чем бы кончилось дело, но тут вернулись родители. Мама высморкала меня как следует, косточка выскочила (без корней, что странно), и мне пришлось все рассказать. Смешно было до слез.

Так о море. Когда поехала туда впервые, мне показалось, что вернулась домой. После многолетнего пребывания на чужбине. Я влюбилась в море, в ЮБК. Раз и навсегда, фатально. А поскольку человек я крайне привязчивый, до безобразия верный и до неприличия постоянный, то «не нужен мне берег турецкий», и Африка, и Болгария, и Кипр, и Мальдивы и т. д. мне тоже не нужны.

Моя бабушка, царство ей небесное, была медсестрой. Таскала меня на работу по больным старикам и старушкам. Их жизнь, запах старых комнат, рассказы о молодости, слоники на комодах, фотографии красивых молодых людей отпечатались на мне. Может быть, поэтому мне всегда было свойственно ощущение отсутствия времени. На уровне группы крови. Среди фотографий были крымские. У каждого поколения. У горы Сокол или Орел. У горы Дива. У горы Кошка. Адалары. Медведь-гора. Караул-Оба. Мыс Капчик. Цветные открытки. Несколько поколений любило эту землю. Пушкин, Голицын, Волошин, наша Леся. Цари, трудящиеся, богемная пена, известные писатели, «sont musiciens artistes peintres ou comédiens souvent». Словом, «зимний вечер в Ялте».

«В Крыму непристойно без татар» — прочитала где-то. Да, казалось бы, южная природа требует южного народа, но это, по-моему, не совсем так. История Крыма — история здравницы. Греки тысячу лет назад приехали, поправили здоровье, выспались под кипарисом и можжевельником и уехали. Византийцы построили крепость, но то ли крепость была слишком некрепкая и пропускала зимний морской ветер, то ли византийцы опасались за честь оставленных в Византии жен, но их курортный сезон также завершился. Крым — гостиница. Весь мир — гостиница. Люди приходят нагими и уходят нагими. Ни сложенную купюру, ни горстку земли не унесешь. Чужие полотенца, кровати, шкафы. Слово «мой» не имеет смысла. Твоего в этом мире нет ничего. В этом смысле Крым — модель человеческого существования. Жизнь от сбора чемодана с купальниками и лежаком до стирки дома пропахших соленой водой и поездом вещей. «Есть только миг», как пел Анофриев. Ушел в запой и не спел во второй части «Бременских». Ну при чем тут, скажите, Магомаев?

Так вот, о Крыме. Там все нереально прекрасно. Настолько, что

описать это не представляется возможным из-за отсутствия в лексиконе среднеширотного человека тех южных красок. Там пахнет солнцем. Там ощущаешь себя камнем, мокрой галькой, которую веками шлифует прибой. Греком, храпящим под кипарисом, Голицыным, заливающим приход красной армии своим красным полусухим, Волошиным, полоскающим бороду в заливе. Крым — это любовь. Состояние любви концентрируется где-то в глубине, в подкорке тектонических разломов. Кристалл любви, любовь в кристаллической форме, кристаллы горного хрусталя на горе Кошка. Словом, Крым — это номер в отеле. Самое лучшее — на раз, как, собственно, и вся жизнь.

Хотела бы я жить в Крыму постоянно? Нет, наверное. Не знаю. А может, да. Но Крым уже не татарский, не русский, не украинский. Он крымский. Эта земля делает людей под себя. Людей крымской расы. «Остров Крым». Там так много душ, бывших и нынешних, что я наполняюсь, как бокал вином. Обретаю смысл. Сидишь на берегу, боишься расплескать. Становишься собой. Человеком без времени. Вневременье — лозунг Крыма. Там звучит старая музыка, там времена встречаются на перекрестке.

Письмо о музыке.

Не могу научиться подбирать на пианино — мне нравятся все варианты. Впрочем, пожалуй, предпочтения все же есть: пение под гитару, соло. Потому что я из 60-80-х. Это барды, авторская песня, исполнение стихов под музыку. Окуджава, Высоцкий, Визбор, Долина. Шевчук, Голубева, Арефьева. Из наших — Ольга Богомолец. Монолог на публике. Стриптиз на публике. Исповедь. Рассказ о себе. Как и романс. Очень люблю романсы. Особенно старинные, украинские, малоизвестные.

Готовили вечер украинского романса с коллегой (Оксана Алексеевна). Думали, подберем пару-тройку, а наткнулись на такое количество материала, современного и старинного, известного и забытого, что от этого крика во все уши музыки, когда-то любимой, стало реально плохо. Оттого, что «акация гроздь душистые» душат нас уже столетия своим удушливым ароматом, и мы не слышим едва уловимый запах «Білих конвалій». Не слышим оттого, что твердо уверовали: такого запаха нет. По той же причине, почему «и великий, и могучий, и правдивый, и свободный». А остальные как же? Почему, интересно, англичане не пишут так о своем языке? «О, великий английский язык!».

Еще оттого, что акация на виду, а конваллии нужно найти, подобрать аккомпанемент, отрепетировать. Анонсировать. Разрекламировать. Кому нужна эта музыкальная археология?

Еще спрашивают, почему у украинцев «один сум?». Б....ь!

Краткий список того, что особенно понравилось:

«Поїзд у Варшаву», «Колір Чорний», «Ставок заснув», «Айстри білі», «Коли ми йшли удвох с тобою», «Стрійський парк», «Серце», «Як тебе не любити», «Палять листя», «Тепер і потім», «Сни», «Кава з молоком», «Усміх твій таємничий», «Жоржина», «Місто спить», «Було не любити», «На підзамчі», «Ой там у Львові», «Напитись голосу твого», «І що тобі сказати, як розлюбиш», «Назавжди», «Червона троянда», «Відлуння кроків», «Радий би я залюбитись», «Листя ромену», «Намалюй мені ніч», «Білі конвалії», «Єдельвайс», «Амоге, амо», «Ходить ніч», «Зірка ясна», «Ні, я забудь тебе не зміг», «Дощ», «Чи справді» и много еще другого. В нотах, в старых записях, хриплых и еле различимых, в любительских видеосъемках. Нужны раскопки. Тяжелый труд по восстановлению призраков и отражений, идей и набросков. Кому это надо?

А надо просто немножко снять «окуляри від сонця» и вытащить из ушей серные пробки годами раздолбанной и заигранной классики русского романса.

Нежность и чувственность украинского мелоса, в том числе и украинского шансона, который тоже, да будет вам известно, существовал на Западной Украине в 20-х — 30-х годах (ничего общего с Владимирским централом), бесконечна и словесно непередаваема. Безмерна. Нежность, грусть и тоска, ностальгия по прошлому и будущему. Прекрасные танго, вальсы и фокстроты Богдана Весоловского, ныне забытые. Мне близко все это еще и оттого, что в украинской музыке совсем нет того, что я так ненавижу в музыке в частности и в жизни вообще. Вмешательства. Нравоучений. Наглости. Оккупанства. Intrusiveness.

Кстати, англоязычные песни мне никак, ни с какой стороны. Как человек, довольно сносно знающий английский, могу совершенно определенно сказать: так, как ты чувствуешь язык свой, родной, русский или украинский, ты не ощутишь никакой другой. Перевод? Это вообще вещи неравноценные. Несопоставимые. Откровений, искомых тобой в не до конца понимаемых текстах, нет. Их действительно там нет. Хороши они лишь тем, что ты можешь в них додумать. От себя.

Первое письмо о себе.

Все записки всякого рода следует называть «я». Ибо другое название есть ложь. Даже если о других — о себе. Даже если о себе — о других. Почему нет? Ведь, собственно, четких границ между тобой и не тобой не существует. Общие завязанные друг на друге эмоции, слова, морские узлы проблем, взаимоотношений. Я, например, патологически страдаю отсутствием границ. Болею состоянием, когда ты есть все. Иногда очень сложно держать свой огонек в ладонях. Чтоб не уронить, чтоб ветер не задул. Прикрываешь из последних сил и думаешь: как мало надо, чтобы задуть его. Очень мало. Раньше я мучительно думала, есть ли у меня собственный огонек или я структура исключительно отражающая. Думала, нету. Чем старше становлюсь, тем более

склоняюсь, что есть. Только не огонек. Блуждающий болотный огонь. Вышел — вошел. Чувствуешь — есть. Чувствуешь — нету. Проходит сквозь меня, как и все. Как снег. Ветки. Дома. «Я — дорога». Люблю Шевчука. Люблю дорогу. Огоньки проходят сквозь тебя. Поезда. Города. Люди. В сущности, человек — существо прозрачное. Или призрачное? Или только я? Дорога меняет содержание, наполняя старые формы. Ничего так не люблю, как ехать. Все равно куда. Лучше в Крым.

Письмо о времени.

Со временем я в контрах. Ненавижу часы. Не ношу, пытались подарить, привить, не ношу. Не прививается. Опаздываю постоянно, с садика до работы. Времени нет. Это понятие для меня из ряда не существующих. Знаю, оно мне оплатит. Пока по мелочи, а там... Мой отец ремонтировал часы. Типа хобби. Их у нас было много. Старинные, они били хором. Своего рода заклинание времени. Впрочем, не помогло. Челентано тоже часовой мастер. Я люблю его песни. Не за песни, за Челентано. Он ведь шут. Кареглазый, к тому же. За язык. Итальянский не имеет рифм в нашем понимании, они в середине строки. Не рифмуются, а перепеваются. *Su confessa amore mio io non sono piu' solo, l'unico.* Украинский тоже очень мелодичен. Ассонансы, аллитерации. Но он не мой родной.

Письмо о языке.

Почему человек так легко принимает форму окружающей среды? Любой. Даже самый умный. Самый лучший. Зеленеет, синеет, краснеет. Неужели это правильно? Или это единственная форма существования человека? Неужели прав был Киплинг? Должно быть, да. Захотелось прочитать его «Кима». На каком языке он думал, интересно? Конечно, на английском. Как и я. Я думаю на языке завоевателей. На их корявом языке, давно утратившем корни и сохранившем лишь свои очертания и формы, вобрав в себя соки этой земли, ее наполненность, песни, музыку. Это удивительно, но у каждого предмета есть свой музыкальный тон, он поет. Глядишь в окно и слышишь музыку города. Я всегда слышала эту музыку, этот непрекращающийся шум в ушах. Редкая музыка мне очень нравится. Та, что совпадает с моей. Цыганский свинг или джаз. Чаще музыка мешает мне слышать мою собственную. Это поет моя земля. Она сама есть музыка.

Прости меня, земля, что я пишу на языке завоевателей. Ты учишь меня искренности, и я тебя слышу. Не могу врать. Не многие тебя слышат. Тяжелее тем, кто слышит, но не может ничего сделать, не может даже писать под диктовку. Я — пишу. Хотя бы. Не могу не писать. Прости, на кодировке моей пуповины. Он здесь скоро совсем изменится, язык конкистадоров. Останутся только слова. Предложения будут течь по-своему, под твою музыку, земля. Ты не Ukraine. Ты Kievan Russ, первая, настоящая и самая главная. Ukrussia.





Любимый — но не родной. Это об украинском языке. Родной язык — язык матери. Роды, первые месяцы, стресс. Люди говорят на языке матерей. Русский — язык моей мамы. Украинский — язык моей земли. Лад моей души, строй. Но вот писать можно только на языке матери. Это элементарно — только на пуповинном уровне можно выйти в астрал и узнать, что ты сейчас пишешь. Что хотят, чтобы ты написал. Что чешется и зудит. Что ты не можешь не написать. Не верю в Набоковых, Позднеров, Бродских, пишущих на неродных языках. Ибо, если писательство — первичная ложь, писательство на чужом языке — ложь вторичная. Украинский мне не чужой. Просто не пуповинный. Хотя я на нем пишу стихи. Они приходят иногда на нем.

Но в стихи не влезает. Не влезает все. Узко. Подгоняешь под рифмы, обтесываешь. А Буратино — оно и есть Буратино. Испорченное полено. Мне нужно, меня тянет держать ручку, и чтоб она шла, бежала, сама, я просто — просто инструмент. Иногда, впрочем, я не ловлю сигналы. Точно наполняюсь бетоном.

Так вот. Об украинском языке. Люблю. Культура, музыка — все близко мне. Ближе русской. Страшно, да? Культура моя, ментальность моя, язык — не мой. Просто мама говорила мне не «сонечко мое», а «мое солнышко». Ну при чем тут я? Я дышать училась под русскую речь. Я по-русски хочу писать о своей родине. Несчастной Родине, которая нынче в полном... (предоставляю читателю право самому подобрать слово), как исторически сложилось. На родном, как исторически сложилось, языке. «Ничего, что вы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню». Окуджава. Грузин. Поэт. Интуитив.

Мне эта земля болит, у которой прошу прощения на языке завоевателей. Во всем винящий всех Запад, самоедски зацикленный на себе Центр, и Восток — однодневные всходы Советов, постепенно эволюционирующие на этой земле-во-что-посмотрим-далее, и гостиница — Крым, наше общее изолированное счастье. Болит, все это болит. Ибо нет патриота патриотичнее, чем бывший перекованный русский, всеми поколениями умерший за царя-батюшку. По обе стороны русско-украинской границы — нет.

Письмо об искусстве.

Мой любимый учитель всю жизни рисовал абстракции. «Цвет уводит меня» — говорил он с расширенными зрачками и, действительно, на глазах уходил в глубину. Спасибо ему же, я решилась однажды подстричься. «Женщина со стрижкой — это цветок. Цветок на стебле» — говорил он, и делал непередаваемый жест, видимо, изображая стебель. Это очень впечатлило.

Что касается меня, то я никогда не понимала смысла перемешивания деталей действительности (и чем дальше, тем меньше понимаю), и без того безбожно перемешанных в окружающем мире.

Почему нельзя, имея талант, просто рисовать все, что видишь? Все подряд? Лица, город, книги, иллюстрации. Что тут непонятного? Кому что объяснять? Просто рисуй. Как троллейбус заворачивает за угол. Девушка вытирает нос ладошкой. Спотыкаясь, спешит за мамой ребенок. Снег. Висящая занавеска снега в окне. Только любимые лица не рисуйте. Не воруйте. Никогда. Вообще я не люблю портреты. Я их боюсь. Они отбирают и дарят одновременно. Они уже не есть чистая материя. Впрочем, а что есть? Котлета? Суп?

Однажды, будучи в полном отчаянии, нарисовала портрет. Свой собственный. Тушь, перо. Глаза, волосы, осенние листья. Подруге понравился, мне — нет. Подарила. А вскоре у нее был пожар. Сгорела вся мебель и кошка. Портрет, кстати, уцелел. Нет, я это никак не связываю. Просто с тех пор не люблю портреты. И рисовать, и смотреть. Это призраки, а разве их без портретов мало?

Я фотографирую. Сублимирую художественный дар, умения и навыки художественной школы. Снимаю в основном свет. В разных ракурсах. В ветках, в городе. Солнце, луну. Воду, дожди. Три элемента моей жизни: свет, вода, город. Людей снимаю редко. Постольку, поскольку они проходят сквозь пейзаж. Люди — ведь это тоже где-то дождь, снег. Явления природы. За иными наблюдать — одно удовольствие. Но чаще люди маскируются. Одеваются в рыбью чешую, очистить каковую не представляется возможным, да и опасно. Иные ходят вовсе без кожи, не нарастает и все. Смотреть на них и страшно, и весело. Иногда мне кажется, что я отношусь к ним. Иные ходят в целых аквариумах. Наблюдаешь рыбок, но ни съесть, ни поймать.

Письмо об аквариумах.

С детства любила аквариумы. Был один с черной стенкой и светящимися неонами. Которые довольно быстро сдохли. Потом были разные твари, притаскиваемые отцом — угри, головастики, личинки стрекоз. Тритон. Угрей поджарили, тритон помер, личинки стрекоз поели всех остальных, вылупились и улетели. На том окончились мои детские аквариумы.

Потом много лет были сны. Долго. Постоянно. Чистые аквариумы, мутные, разбитые, пустые, грязные, прозрачные, магазины аквариумов, уже знакомые по снам, продавцы аквариумов, все сплошь мужчины. Вся эта чехарда длилась, пока я не купила, наконец, аквариум.

Первые рыбы были скалярии. Изящные, аристократические, постоянно дохнувшие твари. Чтобы они не обтрепывались, им приходилось заливать львиные доли лекарства в воду. В конце концов, на лекарствах они так разъелись, что заняли всю площадь аквариума и я сдала их в переход, в зоомагазин, по пять гривен за штуку. Даром не брали. После этого были цихлиды, рыбки тупые и хищные, постоянно поедающие друг друга. Закон Дарвина можно было наблюдать круглые

сутки. Эта жестокость так действовала на нервы, что я выпустила их в фонтан на Белочке. Должно быть, зимой они замерзли. Или приспособились, мутировали и продолжают жрать друг друга где-нибудь в канализации. Судьба их, признаться, меня совершенно не занимает. Потом были барбусы. Тоже не ангелы, должна вам сказать, но долго они не протянули. Сейчас живут гупии. Живут упорно, постоянно, непрерывно. Размножаются. Утром кажется, что вода в аквариуме вскипает.

Теперь аквариумы мне не снятся. Совсем. Кстати, группу «Аквариум» я не люблю. БГ, конечно, не г., хотя и держится на плаву удивительно долго, но и не гений однозначно (для меня однозначно, во всяком случае).

Да, забыла сказать, у меня всегда были рыбки одного вида.

Люблю равенство. Во всем. Равновесие. В 5-м классе вывела новую теорему. Вернее, новый способ доказательства теоремы о равнобедренных треугольниках. Собственную. Просто я не выучила ту, древнегреческую. А подгонять под ответ в учебнике было надо. Меня всегда тянуло к треугольникам. Думаю, это оттого, что в детстве у меня над кроватью висело хрустальное бра из треугольничков, доставшееся от богатых родственников. Свет в нем множился на массу треугольничков просто чарующе для детского глаза. Так вот, математичка расчувствовалась и еще долго ставила мне пятерки. Просто так. Кстати, чудесная женщина: умная, красивая, что редкость. Я периодически влюблялась в ее мужа, географа. По географии у меня были хронические тройки. Когда он останавливал на мне свои глаза, вся тектоника, параллели, меридианы, пассаты и прочие климатические зоны мгновенно улетучивались из моей и так постоянно проветриваемой головы. Оставались отдельные представители фауны и флоры, за которых я имела свою совершенно законную тройку. «Надо же, а Елена Николаевна вас так хвалит», — бормотал учитель в недоумении. Думаю, не смотри он так пронзительно своими (карими, разумеется) глазами, я бы соображала куда быстрее. У него была абсолютно украинская фамилия и абсолютно еврейская внешность. Вообще любовь к учителям сопровождала меня все бессознательную и сознательную жизнь. Учитель рисования, учитель физики, учитель географии, учителя английского, французского, философии, литературы. Философ, худенький мальчик в очках, за которыми прятались глаза голубые, но настолько глубокие, пронизательные и умные, что им абсолютно не требовался карий цвет. Он требовал и ставил оценки за: «А что вы лично об этом думаете?». Спрашивал: «А знаете, отчего женщин-философов нет?» И сам отвечал: «Оттого, что женщинам и так все ясно». Пояснял на примере: попросишь женщину представить бесконечность. «Все, представила» — говорит. Попросишь мужчину, задумается, зависнет.

Напишет пару-другую фолиантов, но представить? Никогда. Поговаривали, его потом уволили. За пьянство. Должно быть, все пытался представить бесконечность.

Письмо о писателях.

Писать нужно, чтобы железы напухали. Хотя бы у пишущего. Иначе, пожалуй, не стоит. У Гребенщикова это кружевные узоры разума, ни к железам, ни к душе не имеющие никакого отношения (именно оттого он органично чувствует себя во всех религиях). Игра ума, напичканного чужой поэтикой, количество которой призвано заменять отсутствие своей. Игра, положенная на музыку, кем-то уже (как правило, не слишком известным) написанную. Причем сам БГ это прекрасно понимает. «500 песен и нечего петь». Зато, бесспорно, есть что продать пещерным людям. Самоучка Цой на его фоне выглядит просто гением. Не говоря уже о Шевчуке. «У Цоя было то, чего у меня нет и никогда не будет, — огонь», как застенчиво признавался сам метр, наматывая на палец очередную бородку, призванную заменить внутреннее.

Умница он, впрочем, БГ, знакомит питекантропов с культурой. Переварив ее и выдав на-гора в весьма своеобразном виде понятно что. Как и все писатели, да. Только у кого-то есть огонек, у кого-то нет. Огонек не уворуешь. Он сам вселяется в человека по своей воле и желанию.

Есть искусство для искусства. Переваренная пища для самоупотребления. БГ яркий его представитель. Но я не поклонница этого течения. Своих взглядов никому не навязываю, просто излагаю. Должно быть, я в этом плане слишком совок: искусство должно трогать, звать, вести, пр., др. Цеплять, а не «не мешать» и идти параллельно. Иначе получается то, квинтэссенция чего во фразе «я тебе не друг, я тебе не враг, просто мне все пофиг». Да и мне тоже в таком случае глубоко пофиг такой пофигизм.

Нравятся вовсе не детские и уж никак не сказки Сергея Козлова. «Медвежонок сидел на крыльце и плакал. «Глупенький, что же ты молчишь? Я же говорю с тобой», — сказал Ежик. Медвежонок заплакал еще сильнее. «Кто же тогда будет Медвежонком?» — все сильнее всхлипывал он.

Нравится Гришковец. Потому, что он не вымучивает тексты, он их думает. Он ими думает. В больших количествах, правда, этот душевный мусор раздражает.

Часто пишу, когда болею. В любви признаюсь, когда болею. Видимо, какие-то тормоза расслабляются и вся система защиты от окружающего всего переключается на вирус. Хорошо помню ощущение от наркотиков в больнице, когда вырезали аппендицит. Там был такой доктор! Черные волосы, синие глаза! Увы, он не остался Тем Доктором и ставит свои тапочки рядом с моими. Мне, впрочем, не мешает. Они мне уже как рука, нога, или почка, эти тапочки.

Первое письмо о весне.

Весна. Время, когда ветер ошалело носит тучи, как обрывки вчерашних афиш. Время, с которым я совпадаю. Носит, как тряпки, птиц. Носит, как грязные бумаги, листья. Время, с которым я совпадаю. Вот такое у меня в голове, причем постоянно. Нормальное обычное состояние. Разболтанное. Мутное. Снился аквариум. Бежишь от символизма в жизни — он снится. Огромные рыбы, одна из них... Нет, в деталях писать не буду. Словом, весна. Взболтаем останки бывшей любви, настоим на них новую. Болтанка. Любовная взвесь. В это время я всегда болею. Влюбляюсь. Крышу тоже сносит ветром. Одеваюсь неадекватно. Веду себя неадекватно. Не могу себя собрать, отстоять, ограничить. То знобит, то бросает в пот. Ловишь себя на том, что смотришь на представителей противоположного пола умоляюще-жалко. Сквозняки во всем доме и в душе. Собрал, упорядочил — подуло, унесло. Сел, задумался — уплыл куда-то. Приплыл — опоздал. Причем во сто мест сразу. Весной на людей смотрит небо. Видит во всех деталях. От его взгляда обостряется все: от простуды до любви. Любовь как орган восприятия мира. Фокусировка. Без нее все мутно. Она наводит четкость. Объектив — любовь. Весна — любовь. Смотришь — женщины, мужчины. Нет, реально! Люди, вороны, облака. Смотришь — небо.

Чем более хочешь весны, тем ниже падает столбик термометра. Чем яростнее начинаешь ненавидеть куртки, шапки и прочую зимнюю ветошь, не рассчитанную даже на минус пять, тем плотнее зарисовывает мороз стекла. В рамы дует, и чувствуешь себя в пижаме на снежном перекрестке. Угловая квартирка на 7-м этаже, рассчитанная на городскую мягкую бесснежную зиму. В окне сияет город. Раньше мне нравилось это раскинутое передо мной пространство. Огни Киевского вокзала. Огни на мосту к Палаткам. Город. Пейзаж, видимый и любимый с детства. В морозном воздухе огни горят особенно ярко. От этого яркого ирреального света становится холодно. Чувствуешь себя в древних развалинах башни, открытой всеми своими трещинами всем ветрам. Конец зимы. Заморозить все, что не замерзло. В окно не хочется смотреть, к окну не хочется подходить. Хочется лежать и представлять. В детстве я любила фильм «Где ты, Багира?». С рожденья и по сей день, как главная героиня его, страдаю от бесконечных историй, роящихся пчелами у меня в голове.

Письмо о пчелах.

Вот и теперь представляю себя в повозке. Я — дочь одного очень-очень придворного человека, убежавшая с бродячими артистами. «Была я уличной певицей, а ты был княжеским сыночком» (Цветаева). Просто я люблю петь и изображать. Что-нибудь, кого-нибудь. А еще я люблю дорогу. Люблю смотреть, как через дыры в днище повозки, серая, пыльная, каменистая, пробегает жизнь.

Я скользю взглядом по пейзажу из окна и пою свою песенку. Грустную средневековую песенку, вроде «Веретена» Долиной. Или «В полях под снегом и дождем». Простую. О том, что любовь всегда невзаимна. И несчастна. Ибо счастливая любовь автоматически перестает такой быть. Любая материя ищет форму, находится в постоянном поиске. Найдя, окаменевают. И стремятся к небытию. К саморазрушению. К обретению свободы любой ценой, включая самоуничтожение. К разрушению старой формы, к обретению свободы, и, как следствие, новой рамки. Очень трудно не строить рамки. Этому помогает дорога. Дорога как состояние души в поисках. Поиск как нормальное состояние души. Несамодостаточность как норма. Для меня.

А может, дорога позволяет остаться на месте? Остаться на СВОЕМ месте? Меняющийся пейзаж — лишь иллюзия движения. Не твоего движения, движения извне. Ничего не делай, спи. Спи и жди конечной станции. Возвращения в утробу, возвращения в воду. В море. Боязнь жизни?

Я пою песни. Я все время пою. Меня вырезали из поющей ивы у воды, я должна петь, иначе во мне рождается негатив. Когда замолкаю, не узнаю себя. Могу обидеть, ударить. Если не пою. И я пою. Когда актеры болеют и репертуар летит в тартарары, ломаются или меняются декорации, меня просят петь. Иногда перед представлением. Иногда после. Иногда вместо.

Не могу жить по-другому. Однажды вернулась домой. Там тепло. Детские куклы. Собачки. Мать, отец. Он любит меня, она считает странной. Впрочем, тоже любит. Старалась, одевала, выводила в свет. Не понимала, что тошно слушать о форме оборок, устройстве канализации в замке, персидских коврах, перетряхивать кандидатуры женихов. И я снова сбежала. Утром. Спустилась по карнизу, слева от главной башни. Тяжело — тащу теплые вещи, еду. А без одежды зимой в пути никак. Того и гляди — заболеешь и проблем труппе — лечи, таскай, а не дай Бог — копай промерзшую землю. Повозка ждет меня за околицей. Мы договорились заранее, что вернусь. На выезде из города вижу — скачет за мной Ронни, Роналд — друг детства. Ездил за повозкой месяц. Исчез в Амьене. Встретил свою звезду, храни его Бог. Это важно — встретить свою звезду. Моя звезда блуждающая. Мне нравится шут. Особь замечательная для бродячей труппы. Он иногда, в особенно суровые зимы, пристает к нам. Спасите наши души, они из одного воздуха. Его любить нельзя, невозможно. Но когда я вижу, как он проявляется из тумана, на горизонте: тощая долговязая фигура, шатающаяся от ветра, медленно догоняет повозку, подпрыгивает на облучок, машет нам рукой и молча едет с нами, внутри у меня тоненько и тревожно начинает точно что-то петь.

Второе письмо о весне.

Знаете, как начинается весна? Всегда по-разному. Бывает так:

едешь в промерзшем автобусе, на улице 20-ти градусный мороз. И чувствуешь вдруг, что в левый угол левого глаза светит яркое солнце. Уже весеннее. Не видишь, а чувствуешь. От него загорается висок. Проходит игольно-височная головная боль. Загораются волосы, ресницы и лица пассажиров, морозные узоры на стеклах, глаза. Ты не смотришь на солнце, ты его чувствуешь. Так я чувствую шута там, у задней рессоры, на запятках. Чувствую, как его длинные ноги подпрыгивают на ухабах. Как свистит пронизывающий ветер, полоская старую потертую куртку и разукрашивая голую кожу в просветы дыр. Чувствую вечную болячку его на нижней губе. Красные уши под колпаком, примотанным к голове женским пуховым платком. То ли для тепла, то ли чтоб бубенчики молчали. Крючковатый нос. Мне не нужно смотреть на него. Я его вижу. Это весна. Солнце в углу глаза.

И еще запах. Ни с чем не сравнимый запах сухой земли. В 20-ти градусный мороз весенний запах сухой земли. Предчувствие мая. Когда руки еще в шкуре ящерицы от мороза, когда кутаешь тело в одежду, словно душу в слова, когда зима стирает чувства в кровавые мозоли, ты видишь эту фигуру. Слышишь этот запах. Запах сухой земли. Голой земли. Ты понимаешь — все. Это весна. Не важно, сколько градусов. Солнце окрашивает его волосы в рыжий цвет, и он закрывает глаза. Подставляет уставшее от зимы лицо солнцу. Мне хочется только одного — чтобы он всегда ехал в нашей повозке. Молча. Молча спал, молча ел. Просыпаться, зная, что он видит тот же просеянный через дыры крыши свет. Или тот же купол — потолок разваленного замка, где мы ночуем. Слышит, как ветер гуляет за шелковыми обоями. Он никогда не смотрит на меня, разве когда я пою, ловлю на себе его отсутствующий взгляд. Он всегда где-то не здесь. Как, впрочем, и я. Где-то не здесь мы с ним, похоже, и сосуществуем.

Любовь. Я себя слишком давно и слишком хорошо знаю для этого светлого чувства. Весна не приходит после лета и тем более после осени. А солнце все светит и светит сквозь неподвижно сидящую фигуру. Это — весна. Только не вставай, ладно? Сиди.

Здесь или там реальнее, никто не знает. Стоять рядом — значит не видеть ничего. Свой человек часто самый чужой и самый далекий. Сидит напротив стола где-то на Венере. В лучшем случае. А то и вовсе в другой галактике. Вникать в тревоги своего, принимать близко к сердцу? Не хватит сердца. Закрываешься. Инстинкт самосохранения. А чужих — их нет. И себя нет. Оттого так тяжело от «не понял», «не услышал, не помог». Себе не помог. От отсутствия границ становится тяжело, будто растягивают кожу. Вот-вот лопнешь. Без отсутствия границ таешь, как лед. А с обручем на голове еще хуже, так и пульсируешь: то сжимаясь до предела, не допуская в свой мир никого, то впуская в себя все. И тех,

которых впускать не следует. Никогда. И тех, кто случайно попал в это поле в момент пульсации. От этого маятника боль почти физическая. Сложно сделать наоборот, потому что «майже ніколи не є навпаки». Матиос — заговорившая природа. Лоно. Чрево. Забужко, «дитя асфальта», мне все-таки гораздо ближе.

Зачем я так много вижу одновременно? Монастырскую гору, и море, и горы, и все, что когда-то видела и где была, все — зачем кружится и проносится мимо? Зачем не стирается? Слишком многое. Файлы не стираются, рукописи не убиваются. Если и да, то только затем, чтобы снова прийти к кому-то другому и вытечь из-под пера. И этот другой не увидит другого выхода, кроме как брать ручку и писать, «что он слышит».

Зачем к концу зимы от людей остается только тень? Остов, высушенный морозом и ветрами?

Весна. Язычки пламени на скатах крыш. Снегурочка тает. Солнце играет на клавишах дней. Что играет оно? Какую музыку? За ручкой скучаешь подчас больше, чем за живыми существами.

Письмо о Багире.

Интересно было бы собрать группу людей, у которых в детстве были звери с этим именем. Которые любили тот странный фильм. У них бы нашлось много общего, могу поспорить. И все они одиноки, даже если не знают об этом. Хотя нет, не одиноки. Ведь у них есть Багира. Защитник, друг, любовь. Всегда есть Багира, если она была у тебя в детстве. И дальше идет с тобой по жизненному тротуару мимо гудящих машин. У мужа Багиры нет, хотя ему очень хочется. Он спит, одиноко свернувшись в калачик. Правда, мы с ним давно составляем одно целое, так что у нас одна Багира на двоих. Ребенок постоянно разговаривает в комнате. Один. Зайдешь — «мама, не мешай играть». Понятно. С Багирой конкурировать сложно. Невозможно.

Письмо о совести.

Иногда меня окружают тучи тупого ужаса. Страх перед завтрашним днем. Абстрактные сны: другие люди, чужие, незнакомые. И стена. Потому что никому ничего не можешь сказать. Никому не нужно. У всех свои проблемы. Своя невытая совесть. Потому, что ужас и тоска — это совесть. Все твои, простите за изъезженное слово, грехи. Собираются вместе и начинают есть. Принимают совершенно другие формы, так что и не догадаешься, что это таки они. Не сделал. Не ответил. Не сдержался, послал. Не помог, не пошел. Забил. Провтыкал, что там еще? Да, просто — не услышал. Человека, который рядом. Не понял. Один раз. И делаешь ошибку за ошибкой. А потом — эти сны. О том, что люди чужие тебе. О том, что ты чужой людям. Даже самым близким. Город, любимый мой город. Он умеет пережевывать людей. Ну почему человек так легко принимает форму окружающей среды?





Письмо о снах.

Часто снятся места, где я никогда не была, но по снам уже знакомые. Долго не видишь — начинаешь тосковать. Тоска по незнакомым местам, где никогда не был. Одно из них: снится огромный микрорайон, серый, цементно-бетонный. Я объезжаю его на троллейбусе и не могу объехать. Хотя знаю, что там есть дорога не объездная, а напрямик. В очень красивом месте: горы, камни, лес, водопады. Иногда — бесконечные пересадки. Иногда — короткий, но очень стремный путь. Троллейбус качается где-то на верхушке горы. И еще, конечно, снится поезд. На который я хронически перманентно не успеваю. Проезжает мимо. Я прыгаю в него, но пропускаю свой вагон. Бегу по вагонам. Люди, люди. Знакомые иногда. Ищу свое место. Его нет.

Сегодня мне снился Иван. Охлобыстин, разумеется. Ходила за ним по пустынным каменным берегам, проходила через мелкую прозрачную воду и с головой переплывала в мутной. Пела во весь голос «мы так близки, что слов не нужно». Целовала его тонкие сухие пальцы, и было это невыразимо приятно. Утром, проходя мимо «Телескопа», мирно лежащего на полу, бросила на фото Охлобыстина сладко-тоскливый взгляд.

А потом мне снился шут. Без колпака, в гражданском. В желтой куртке «из трех аршин заката». Все танцевали, и я ждала, что он подойдет танцевать со мной. Знала, что не подойдет. Но ждала. И он подошел. Я страшно обрадовалась, но сказала: «Ты мне нравишься — я не могу танцевать с тобой. Кто же тогда будет Медвежонком?» Здесь мой сон прервало холодное, серое, зимнее утро. Столбик термометра примерз на отметке «—10». В окне колыхается однообразная ветреная тоска.

Я вычисляю людей по окнам. Есть люди, не глядящие в окна. Это не мои люди. Я могу их даже любить, ибо любовь, в отличие от ненависти, не требует больших энергетических затрат. Но они не мои люди. Есть те, кто сразу находит в любой незнакомой комнате окно. Найдя, подходит и глядит в него. Медитирует. Такие люди всегда чувствуют себя в клетке. Есть люди, для которых клетка — нормальное состояние. Они отворачиваются от окон, как от голодной совести, как от дремучего хаоса. Главное для них — плитка модного цвета, трендовые занавески, обои. Главное — удобно расположиться в клетке. Расположить ручки и ножки. Клетка предполагает определенное, зависящее от хозяина, расписание. Кто хозяин? Клетка, конечно. Вы думали, наоборот? Почти никогда не наоборот.

Мне все равно, было бы окно. Пусть не кормят. Оставьте только глазок. На улицу. Пусть видно будет только номер соседней камеры, все равно. Оставьте. Окно. Сны. Ручку.

Мне часто снятся одни и те же, никогда в жизни не виденные, места. Сегодня стройка. Новый микрорайон. Новое. Пустое. Пустые улицы,

пустые дома. Хожу, ищу свою квартиру. Знаю, она должна быть где-то здесь. А вокруг — никого. Фонари. Ночь. Пустота.

Скомканные письма о пчелах.

Я получаю очень много писем, но не могу их все прочитать. В жизни мне встречались несколько человек, которым я писала. Мой одноклассник. У него была собака Багира, черный дог. Мой учитель рисования. У него была шляпа и вишневые глаза. Еще стоматолог. Еще профессор из Бельгии. Все были на редкость живые. Еще некий задумчивый сокамерник, изредка выныривающий из своего аквариума. Еще руководитель хора, повелитель музыки. Ну и другие. Шут, конечно. Каждому из них я посвящала кипу (в буквальном смысле, в докомпьютерную эпоху) стихов. Только ничего у меня с ними не было и не будет. А было — с другими. А море — снам.

В окне который день отморозенно покачивается ворона. Наохлилась, ветер на ветке качает ее из стороны в сторону. Чувствую себя этой вороной. Не могу даже увидеть, как... Впрочем, это здесь неважно.

Мне на лицо. Падают письма, снежинки, взгляды. Но я сплю, не чувствую.

Она висит, как призрак, в 20 сантиметрах от окна. На березовой ветке. Люди ходят, треплются, пьют, едят. Не смотрят на ворону. Не смотрят в окно.

Иногда мне хочется лежать на асфальте под дождем. Чтобы меня освещали фонари. Иногда мимо проезжали машины. Свет из окон чтобы делил мою шкуру на квадратики пледа. И еще. Я хочу быть без одежды. Может, мне удастся бесследно растаять и стечь сквозь раны асфальта в землю. Или сквозь булыжники. И вот так чтобы меня не стало. Совсем. Я маятник. Мне очень больно жить. Всю жизнь качаться. Ну, кто-нибудь, остановите меня. Не останавливайте. Я могу только болеть. «Кто же тогда будет Медвежонком»...

Где ты был? Я тебя искала всю ночь.

Я всегда это знала, с того самого сна, которому 15 лет. Но знать — не значит понимать. Сейчас понимаю. И просто прошу — будь. Впрочем, даже если тебя не будет, ты будешь. Ибо остаются только те, кто пишет и читает. Я-то это точно знаю.

Снова хочется стучаться и слышать стук. Кто-то стучит в дверь, кто-то открывает, кто-то нет. Нет любви, есть желание любви, вечное, как море. Как боги. Оно накапливается в воздухе и разряжается в кого-нибудь. Стрелы Амура. Бессилье перед этими разрядами знали древние. Последнее время мне хочется заплести тебе косу. Или завязать хвост из вечно грязных волос. В детстве я ходила в театр-студию «Гротеск». Там учили изображать, что ты как будто бы берешь несуществующие предметы. Так вот. Я бы расчесала длинные волосы, очень нежно, не

дернув ни одного волоска. Потом аккуратно собрала бы их в хвост. Вся жизнь наша — ощущение предметов, существующих только для нас. Несуществующие предметы лучше. Красивее. Менее требовательны в уходе. Музыка также из мира несуществующих вещей. Люди, у которых рядом нет Багиры, тянут музыку, точно пылесос пыль.

Любовь — Н, А, Р, К, О, Т, И, К, И. Как пела Билык, когда еще была собой, а не собственным клоном. Кто ее попробовал, без нее пребывает в постоянной ломке. В поиске. В отсутствии равновесия. Впрочем, у меня всегда был отсутствующий элемент. Я же с луны. Мне ее не хватает. В какой-то степени это восполняет любовь. Но в очень небольшой. Это — привычка к растрепанным чувствам, да, возможно. Неумение держать себя в руках, да. Распушенность. Может быть. Но мне чего-то не доставало. Всегда.

Скучаю за ручкой. Ручка, привет. Сегодня солнце. Ноль. Спасительная точка отсчета. Ноль. Я чувствую солнце на себе. Я чувствую себя. Чувствую, как оно горит в стеклах, в лужах, во мне. Чувствую, как волосы щекочут щеку на воздухе. Чувствую, как на глазах исчезают пятна влаги с асфальта. Чувствую — я начинаю отражать мир. Чувство одновременно ужасное и восторг. Восторг ужаса. Все в тебе. И тебя нет. Вообще нигде. Тебя вообще нет. Твоего остова, сотканного такими усилиями, этой хрупкой, но необходимой для выживания формы — ее нет. Она расплавляется, растекается под солнцем. Под взглядами. Шут едет с нами. Я знаю, как он смотрит, даже когда сидит спиной.

Все социальное в человеке хрупко, как узорные сахарные конструкции, украшающие торт, сминаемый инстинктом жратвы. Как узоры снега, сахарно исчезающие под лучами, как эти узоры влаги, с сияющим в них солнцем. Остаются глаза в глаза, и что тогда?

Качается повозка, трясет на ухабах. А солнце в каждой щели, в каждой дырочке. Покрываешься солнцем, точно леопард. Только не прыгивай. Поедем до Парижа. Там сцена. Там деньги. Там вино. Ветка в тумане, в окне постоялого двора. Утром будем встречаться заспанные в одном коридоре. Днем я буду подглядывать, как ты репетируешь, или ждать твоих шагов с обычных твоих попок. Ты пьешь молча, уходишь молча. Вечером я спрячусь в ветоши декораций. Ты никогда не узнаешь, что я смотрю. Никто не узнает. Ты божественен. Шут — твоя сущность. Измена женщине или мужчине — ничто в сравнении с изменой себе. Не изменяй себе.

Солнце, солнце. Город, мой город. Я таю, как этот враз почерневший снег. Я забываю. Самые нужные вещи. Скоро, должно быть, сожгу чего-нибудь. Дай Бог, чтобы кастрюльку или рубашку.

Я замужем. Во всех смыслах. Мужа люблю. Мы с ним — два растущих в одном горшке дерева, давно образовавшие общую круглую крону. Мы с ним одно целое. Любовь к себе? Разумеется. Хорошая

мастурбация того стоит. Но мне нужно любить кого-то еще.

«Кто не забудет первой любви, не узнает последней», — говорил Маяковский. Ему виднее. Впрочем, конкретика не имеет значения. Я люблю любить. Терять контуры. Расплавляться. Исчезать. Обретать их заново, уже несколько измененные. Качественная любовь качественно обогащает личность. Проще говоря, без этого удобрения ядохну.

Весна в городе. Тополя растут сквозь дома. Я — «дитя асфальта», как презрительно говорят куда более многочисленные «дети природы», почему-то неукротимо рвущиеся в город. Я готовлю из полуфабрикатов, презираю запасы, накопительство, закрома, материю для материи. Хочу жить на последнем этаже. Петь в кабаке. Пить, писать стихи. Видеть из окна город. Город осенью, зимой, весной, летом. Вечное движение. Вечный сконцентрированный дух. Тени людей.

Ты только сиди там, на облучке, ладно? Лошади потянут, они все потянут. Они уже почти привыкли. Время слишком долго тянется, когда тебя нет, а мы с ним давние спорщики. Не люблю диктовки, а оно давит. Иди, пора, давай. Я пытаюсь менять его, оно оттягивается и бьет еще сильнее. По мне же. Ненавижу время. В форме часов. В форме расписания. В форме «надо». В форме времени года. Наверное, это единственное, чего я реально не люблю. Оттого, что реально от него завишу. Оно мне отвечает той же монетой. Люблю? Пить. Горы. Море. Дорогу. Поезда, машины — люблю. Поезда я слышу. Живу недалеко от вокзала. Жизнь едет куда-то, «все мимо меня». Жалко людей умных и непьющих. Все понимать, чувствовать, и не пить? Это подвиг. Или больная селезенка. Или печень. Или язва. Или аллергия на алкоголь. Или тяжелый анамнез. В прошлом году с нами ехал сам Бомарше. Правда, очень недолго. Но что мне с него, если тебя носило, носило неизвестно где?

Читать. Если есть минутка, слоняюсь по книжному магазину. Хотела бы быть продавцом книжного магазина. Осесть пылью в книгах. Только тебя бы я тогда не видела, шут. Стою, читаю. На ходу. Привычка, привитая родителями. Прививка от реальности. Плохо — почитал, ушел. Хорошо — вернулся. Все, что в руках — читать. Пить и читать, читать как пить. Читать как жить. Читать жизнь. Писать жизнь. В книжном магазине наткнулась на книгу «Легкое чтение на китайском языке». Любовь — это легкое чтение на китайском языке, разве не так?

Ты любишь смотреть на солнце?

Я — люблю.

Если ты уйдешь навсегда, я не пойду искать тебя. Не уходи.

Единственное живое существо на моей работе — это ворона в окне. Всегда без раздражения слушает меня и абсолютно все понимает. Вникает. Качается ветка, сыплется снег. Иногда подпрыгивает на ветке — не от холода, нет, — от восторга. Спасибо тебе, ворона.





Все-таки я полнейшая ящерица, как меня назвал один любовник. Один оттого, что он и был один. Я бегаю в тепле и конкретно торможу на холоде. Холодно. Минус. Вечные сопли. Свистящее окно, угловая квартира. Садится злой мартовский демон солнца. Точки, ручки. Холодно. Угол — это карма? Вечный мой угол. Треугольник. Пирамида. Только треугольник есть фигура действительно устойчивая. В любви и в жизни.

Деревня. Актеры слегли, и снова придется петь. Я пою. «Я буду петь, только не смотри на меня» — как говорит моя дочь, ибо кто тогда будет петь?

Холодно. Вина!

Давно ты танцевал под музыку, когда никто не видит? А вообще когда-нибудь танцевал?

Я люблю танцевать. Особенно древние — арабские, индийские. То, что миллионы людей танцевали миллионы лет. Включаешься в розетку всемирного чувственного поля. «Аюрведы» на языке тела. Кстати, русский язык укрроссов видоизменяется с потрясающей скоростью. Украинское построение предложений, украинские падежи, русские слова. Тема для диссера. У меня их много, тем. Например, что-то вроде «Стилистика украинского городского романа 20-го века». И пр. и др.

Мир завязался вокруг этой костлявой фигуры в узел, и я его не хочу развязывать. Ни рвать, ни развязывать. Люблю узлы. Чем запутаннее, тем больнее. Чем теснее, тем более чувствуешь, что ты еще жив пока. Пока тебе больно.

Письмо об актерах.

Любила раньше Меньшикова, потом его «часы от Картье» и шейные платки на булавке весьма намозолили глаза. Талант-пустышка. Пустые глаза. Человек закрытый — человек не нужный. Не впускающий ничего «ниже достоинства». Сам себе Бог. Так не бывает. Путь к себе лежит через торжище. Вокзал. Многовекторность. Иначе — тупичек-с. Имя им — легион. Меньшиков, Безруков, Машков. И иже с ними. Проблема всех нынешних актеров — возможность выбора. Увы, никто не может с твердой уверенностью сказать «мое — то, что нравится. То, что хочется». Иное дело актеры советской школы. Сыграем все, что прикажут. Ведь это суть актера на самом деле. Евстигнеев, Быков, Райкин. Ну, ясное дело, тип шута. Быков в «Андрее Рублеве» вызывал просто физическую боль где-то внизу живота. Райкин в «Труффальдино». Мы так называли нашего физика, в которого были влюблены все девчонки до 11-го класса. Черные брови, карие очи. Умение смешить класс до гомерического хохота. Плюс, что вообще уникально, знание предмета. Мне гена кареглазости патологически не хватает всю мою жизнь.

Я хотела бы оказаться с тобой на необитаемом острове, на узком проходе между скалами, на узком навесном мостике над речкой. Безвариантно. Ибо выбор — всегда иллюзия. Самая большая. «Одиссея»

Кончаловского об этом. «Иллюзии» Баха ведь лишь иллюзии, и скелет Джонатана давно вынесло на берег, вымыло и поломало перья, а остатки мяса склевали другие чайки. Иллюзии остались у входа. Входа туда, куда с Коэльо не войдешь. Там тьма тупичков, узких тропок и подвесных мостиков. Где это? Может, сложить книги у входа и все-таки сунуть нос? Сунуть. Выбора-то на самом деле НЕТ.

Второе письмо о себе.

Маятник. Со мной тяжело. Мне тяжело. Слишком завишу от всего. Флейта-позвоночник. От погоды, перемен, снов. Случайных слов. Шагреневая кожа. Все, что происходит, плохое ли, хорошее — укорачивает меня. Можно ли быть такой? Можно ли жить такой?

Читать становится тяжело. Не мое — тошнит. Мое — слишком влияет. Начала Забужко. «Секреты». Абсолютно мой текст. Но не могу. Слишком тяжело — всю эту расчлененку принимаешь на себя. Это даже не стриптиз, это препарация. От которой и своей бегу. Чувство, что был пьян, да выпил еще, да еще, да слишком — мир сходится в точке. Пульсирует в точке. И время тоже. И эта точка — ты. Мы с Забужко одинаковые. Ощущалки. Поэтому нашим кругам лучше не наплываться. А не то можно попасть в чуткие лапы психиатров. Нет уж, спасибо. Нет у меня лишних денег на это дерьмо. А потому Забужко попробую больше не читать. Ага, и еще не пить. И не жрать постоянно. Когда мне плохо, я ем. Шоколад, конфеты, соленую рыбу, икру. Знаю почти наверняка — полные женщины — несчастны.

Впрочем, во мне практически не осталось женщины, осталось только гадать, не равнозначно ли это для меня отсутствию существования вообще или же человеческого во мне все-таки больше? То есть, буду ли я как «просто человек» жить вообще? Это вопрос, открытый для меня самой.

Я нанизываю твои взгляды на нитку, раухтопазы. Их довольно много уже, этих коричнево-серых, темно-прозрачных камней. Это все, что есть у меня. Ощущения постоянного твоего присутствия, вольного или невольного, на подмостках моей жизни. За кулисами.

Меня пугает мой собственный антагонизм, стремление все доводить до крайности. Я похудела — что потом? Исчезну? Подстриглась — что потом? Подстригусь наголо? Ловлю себя на том, что любую ситуацию обостряю до предела. «Мне бы научиться пить да по глоточку...».

В который раз убеждаюсь, что нельзя мне проявлять инициативу. В жизни вообще. В любви. Ни в чем. Нельзя сильно ничего желать. Нельзя сильно любить чего-то или кого-то. За свои крайности я всегда получаю по голове. В лучшем случае. В худшем — близкие. Мне нужно держаться середины, но у меня это хронически не выходит. Меня так часто бьет по голове, что я почти перестаю соображать и, как следствие, снова делаю то

же самое. Снова. Как я устала от себя самой. Мне нужно только бесшумно заниматься рутинной и не высовываться. А у меня не выходит так. Но в этом случае, в этом случае я не высунусь. Нет уж, увольте... Да меня в этой ипостаси практически уже и не осталось.

Отсутствие мужского начала в моей жизни доходит до такого абсурда, что этот вакуум хочется забить чем угодно. Глиной, грязью, водителем, сантехником. Только бы не эта черная дыра. Задумываются ли люди, убивая в себе пол, что убивают чаще всего себя, ибо, по большей части, история всегда про «длинноволосого уроды и прыщавую курсистку», а не, скажем, про заведующих кафедрой, деканов, ректоров, профессоров, пр., др. Как все-таки де Сад был прав!

Зачем вообще homo social пол? Всю жизнь я мучаюсь от присутствия в себе этого ничем не победимого начала, которое абсолютно никому не нужно, которое всем причиняет одни проблемы и неприятности. Мне самой в первую очередь. Чувства стучат в голову, как пепел Клааса, уже, тем не менее, почти убитого. Убив женщину в себе — не убью ли человека вообще? Как физическое тело? Вот что меня теперь занимает более всего.

Второе скомканное письмо о любви.

Жажда абстрактной-романтической-идеальной любви есть такая же потребность, как пить, есть, прочее. Как сказал поэт, «мне нужно на кого-нибудь молиться». Без такой любви человек постепенно высыхает и превращается в социологический скелет, выполняющий исключительно социальные функции. Обожествление чего бы то ни было, влюбленность, восхищение свойственно людям как дышать. Иное дело, что это иногда принимает формы влюбленности в новый дом, машину, одежду.

А совместная жизнь... Человек ко всему приспособливается. Даже к физической боли. Даже к болезни. Здесь дело в другом — можешь ты быть елкой или нет. То есть, чтобы на тебя вешали игрушки, дождик и гирлянды, и ты стоял целый вечер. Хотя бы раз в году. Это опять из «детских книжек» Козлова. Это все детские книжки, нормально, да? Для детей. «Когда ты умрешь, я тебя посажу в землю, и из тебя вырастет дерево», — сказал Ослик Медвежонку. Так вот. Я могу быть елкой. И хочу. Очень долго. Однажды обнаружила ожоги на ногах. Просто падал пепел с сигареты, а я не чувствовала. Так что елкой — без проблем.

Любовь. Она и спасает, и губит. После нее как после яркого солнечного дня. Острая недостаточность. Тупичек-с. Любовь. Файлообменничек. Внедрение, освоение, присвоение. Растворение. Рассасывание. Обогащение новым цветом, тоном. Насосался, отпал. Возникла необходимость переварки. Переплавки в свое собственное. Ограждение. Что подходит — взял, остальное — спасибо, не надо. Приятно было обменяться. Съели, пожевали, выплюнули. Иное дело, иное дело — «они жили долго и умерли в один день». И это, в общем, вещи разные, хоть где-то могут и

соприкасаюсь. Просто живешь вместе — ни в коем случае! Опасно! — не задумываясь — а что там, в середине соседа? Какие мысли и желания?

Всякая откровенность оставляет ощущение пустоты. Пустого пластикового сосуда. Но, когда он переполнен, это еще хуже. Причем гораздо. Когда человек наполняется собою слишком, это все нужно куда-то слить. Иначе произойдет взрыв. С разнообразными последствиями, дай Бог чтоб не фатальными.

Любовь — это вирус.

Любовь — это что-то живое и совершенно бесконтрольное. Любовь как кактус. Поливаешь — загнивается, высушишь — растет. Цветет.

Письмо о пчелах.

Солнце. Закат. Закат после дождя, трава сверкает розовым, серым, фиолетовым. Ранняя весна. Сейчас солнце закатится, и станет холодно. Мы снова едем в одной повозке. Лицо вполоборота, в лучах солнца. Я в другой плоскости. Это проще всего — быть в другой плоскости. Он это понимает, я это понимаю. Из кармана торчат бубенчики. Они звенят, когда повозка подскакивает. Знобит. Шаль совсем износилась. Мамина шаль. Взяла ее из дому. Сколько времени прошло? Три года, пять? В нее кутался, умирая, старик Бальзамо. На ней рожала Грета. Грета, Грета, милая, чудная Грета. Кукольное личико, кукольная жизнь. Говорят, ребенок у нее был от шута. Она осталась в Амьене, на постоялом дворе, проклиная всех мужчин мира сего. Собиралась отправить ребенка в село. «Мы родились в одном селе с Жанной Д'арк», — говорила Грета. И в разном, к счастью, времени. Грета, Грета.

Времени нет вообще. Для меня, в частности, нет. Боюсь, что для него так же. Время и пространство, в сущности, одно и то же. Я всегда ехала в кибитке. Он на облучке, я у окна. Всегда была ранняя весна. Всю жизнь. Осень, зима, лето — времена снящиеся. Их нет на самом деле. Есть только эта, просачивающаяся во все дыры, точно вода в губку, ранняя весна Возрождения. Где ночевать сегодня? Лошади устали. Холод, холод, ночью холодно. У Баркаса есть вино, крестьянская сливовка, полный бочонок. Если он не зажулит, можно будет согреться. Я тоже хочу в Амьен, к Грете. «Что ты?» — спросит, «Я тоже», — отвечу. Но что мечтать? Этого никогда не будет. Он не спит в повозке. Даже зимой. Даже в мороз. Один раз, правда, на Рождество, он лег рядом. Не знаю, спал ли, — я нет. К утру уплыла куда-то. Проснулась от взгляда. Зрачки дрогнули, расширились, и снова сошлись в точки. И было утро. Холодное, с инеем на ресницах. И мне показалось, что на меня поставили клеймо. Татуировку. Знак. Мир сошелся в одинокую фигуру. Сквозь нее я и вижу мир. Сквозь нее садится за горизонт солнце. Сквозь нее идет дождь. Все, все, и я — сквозь эту неподвижную фигуру.

Вспоминаю, как однажды промерзла и слегла в горячке. Слава Богу, мы проезжали недалеко от замка Де Тембль, и Баркас сдал меня

родителям. Слуги пронесли меня через боковые ворота. Были гости, и родители не хотели компроментации. Сьюзи надо выдать замуж. Золотая моя сестричка. Вот у нее-то будет все... Все. А обо мне — лишь слезы и тоска. Где? Что? Простите меня. Я не могу жить без дороги. Дорога — мое местоположение. Моя система координат. Так вот. Баркас сдал меня родителям, и я до весны провалялась в постели, в маленькой комнате в левом крыле замка. Поднялась лишь в апреле. Подошла к окну. Наш замок на вершине холма, он окружен рвом, на другой стороне — развалины Арденнского монастыря. Совсем рядом. Их было чудесно видно. Каждый камень. На переднем ряду камней сидел человек. Вернее, лежал. Потом сел. Встал. Посмотрел в мое окно.

Я узнала эту длинную фигуру. Пол подо мной покачнулся, казалось, я услышала звон бубенцов, запах дорожной пыли и травы. Он повернулся и пошел. Вдоль по дороге, в бескрайние де темплиевские поля. А через месяц я сбежала. Под утро. Кажется, родители слышали. Но не вышли. Смирились. Поставили крест на паршивой овце. Правильно, мама. Спасибо, папа. Простите меня. Мне нужно видеть, как солнце встает и садится в сияющие поля, слышать, как дождь стучит по крыше повозки. Видеть долговязую фигуру на облучке. Лицо вполоборота. Всегда вполоборота. Всегда не на меня. В небо. В дорогу. В даль. В неизвестность. Вскользь.

«А вы смотрите на него, а он глядит в пространство». Знакомая формула?

Когда я вернулась, его не было долго. Но я уже не боялась, что он исчезнет. Я просто ждала. Как бабочка в коконе. Зная, что крылья неизбежно придется раскрыть. И будет и сладко и больно от отсутствующего черешневого взгляда.

Нанизываю взгляды твои, как бусины на нить; одеваю это виртуальное украшение на шею; оно идет мне более всех других.

Смотрю на тебя и слышу тонкий перезвон колокольчиков, точно открывается дверь.

Гляжу на трещинки в стене: вижу фигуру на повороте дороги; рисунок на рамах так изыскан: короеды знают свою работу — везде ты.

Письмо о Нем.

Когда я думаю о нем или вижу его, в голове возникает всегда одна и та же картина. Поле. Повозка. Весеннее поле, где высохшая трава пронизана густой зеленью. В воздухе летает что-то очень воздушное и пушистое. Непрочитанные письма. Только что прошел дождь: трава, повозка — все мокрое, блестящее, влажное. Низкие тучи движутся, как картинки в шарманке, низко над землей, постепенно рассеиваясь и розовея. Виден голубой лоскут, затем другой, третий, и вдруг степь загорается. Вся. По-новому, свежо, ярко светятся гобеленовые занавески на повозке, люди на них светлеют и улыбаются. Загорается трава, гривы,

хвосты уставших лошадей, все пронизывается солнцем, пронизанным через решето туч сотнями лучей, горит каждая травинка. Волосы твои светятся на солнце, и ты поворачиваешься ко мне. Я сижу на козлах со старым трагиком Юпитером. Иногда я меняю ему слова в роли, под настроение. Ты поворачиваешься ко мне без улыбки, без слов. Просто поворачиваешься и смотришь, точно говоришь: «Солнце». Так проходит жизнь. Мы едем. Меняются декорации, время года и погода. Мы едем. На нас — свет солнца, капли дождя, ветер. Все несется мимо. Мы едем. Много становится другим, если двое едут в одной повозке.

Я подчеркнула его из толпы давно. На ходу у него вечно что-то выбрасывалось вперед — то рука, то нога, то голова как-то странно дергалась. То какие-то отрывочные реплики неконтролируемые. Вечно грязные волосы, изломанная походка. Я не знала, зачем я подчеркиваю. Но подчеркнула. Густой, красной, уходящей вверх страницы линией. «Вот» — подумала я. Что вот?

Я была тогда на первом году замужества. По большой, очень иллюзорной (может, оттого и большой) любви. Ее призрак уже довольно громко трещал по швам; из всех дырок лезли тяжело, запоями переживаемые однообразие, монотонность и несовпадения; впрочем, иллюзии гораздо тяжелее изживаются, нежели их отсутствие. Я продолжала жить этой иллюзией очень долго, мучительно не веря в верность своих догадок. Но это все мои дела; в правом углу моего глаза постоянно маячила эта длинная фигура. Мельком, вдалеке, «части тела», просто неясное волнение от присутствия. Волосы вымылись, походка также потеряла многое — излишние выбросы убрались, а может, сгруппировались — в знак вопроса. Ещедвигающийся и периодически выпрямляющийся в восклицательный. Семейная жизнь моя, тем временем, претерпела качественные изменения, а именно: оба не выдержали и побежали искать подтверждения своего существования на стороне. Жили при этом, правда, вместе. Потом сбежались плакаться друг другу; родился ребенок. Образовалось хорошее СНГ, признаться, можно подумать о смене мужа, но смена соседа по независимому содружеству — неоправданный риск. Тем более, у нас одна Багира на двоих. Так и живем. Каждый в своей устрице. Легко и мимоходом нас вскрывает только ребенок, доставая ему одному видимые жемчужины.

Часто думаю, на сколько процентов человек состоит из пола? А вдруг гораздо больше, чем мы можем предположить? Где-то процентов на 97. Уничтожить в себе пол можно. Засушить. Подорвать. Отравить. Забыть. Заменить кем-то или чем-то. Но не факт, что при этом ты сам не исчезнешь в один прекрасный день за поворотом. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает никогда. А может, просто никто не хочет выбирать? Предпочитаем петь грустные песни? И я первая, конечно, возглавляю этот ряд?

Когда умирает женщина, рождается поэт, оттого что тебя начинает любить все — от туманного осеннего воздуха до камней под подошвами, стула под..., короче, все. И ты чувствуешь ВСЕ. Как движутся облака. Пахнут стены. Садится солнце. Оно слегка шуршит при этом, особенно если садится в облака. Вы разве не слышите? Кожей чувствуешь отсутствующих людей. Занимаешься любовью с миром уже не человеческим. И на грани этих миров, словно в пене прибоя, рождается поэт. И умирает женщина. Лишь она способна отдать. И исчезнуть. Стать субстанцией иной.

Иной природой. Поэтом. Иногда не тем, который пишет стихи.

Письмо о ветре.

Вот и подходит к концу ваше путешествие. Смена дня и ночи в одной повозке. Смена антуража. Смена декораций. И не в Амьене дело, и не в зиме. Просто путешествие ваше скоро закончится. Один из вас никогда не узнает, что едет в повозке и сидит на облучке, не узнает, как насквозь умеет ласкать закатное солнце. Не узнает, кто он. Не узнает, как колеса говорят с дорогой и камнями, никогда не услышит музыку рессор, не услышит, как поют птицы и актрисы без зрителей, не узнает, как предвечерний ветер ласкает полевые травы, волосы, щеки, всех равно, ибо все равно ему, куда дуть, лишь бы дуть. Я только ветер. Увы. Мне жаль расставаться с вами, девочка, которая поет, и мальчик, который смеется, мне жаль, но что поделать — такова моя природа. Я только ветер. Спасибо всем. Приятно было звенеть волосами и бубенчиками. И еще жаль. Вы оба смотрите в пространство. Что ж, «окуляри від сонця, льодяники від висоти», как пишет любимая моя Забужко.

Письмо о повозке.

В сущности, образ повозки, не случайно возникший «в моем воспаленном мозгу» (ну люблю я Маяковского), очень верен. Мужчина и женщина — существа с разных планет. Они могут сосуществовать только в одной форме: она — у окна, он — на облучке. Им лучше не пересекаться, ибо тогда они совершенно ясно поймут — уже не догадкой, а обреченностью — что совершенно разные. Из разных элементов сделанные. А еще поймут, что составляют единое пространство лишь вместе. В одной дороге. На одной повозке. «Двое в пути» — старый французский фильм с Одри Хэпбэрн в главной роли. В молодости я была похожа на нее. А еще мой любимый «Капитан Фракасс». Повозка, бродячие артисты. Меншиков там похож на моего учителя рисования. Причем как две капли воды. Как ему шел этот образ бессребреника! Музыка Шварца. Песни Окуджавы. Сценарий Визбора. Помнится, могла смотреть этот фильм до тошноты. Однажды ко мне в гости пришли институтские подружки. Видик посмотреть, тогда еще редкость. Я включила им Фракасса; отец заметил мне: «Не пичкай других тем, что нравится тебе — включи им «Греческую смоковницу». «Смоковницу» я и сама уже смотрела, разумеется. Несколько раз. Но слова отца были не о том, а об эмпатии. Очень многие

его слова, и даже молчание, и даже крики, и даже пощечина — были об эмпатии, и я их совершенно правильно поняла. Иные сразу, иные потом. Я поняла, папа. Спасибо.

Второе письмо о Крыме, написанное сразу после возвращения.

Крым — «Приют комедиантов». Был такой старый фильм с молодым Охлобыстиным в главной роли. Это трудно объяснить. Место совершенно магическое, словами не описуемое. Там какой-то перекресток чего-то, я не могу объяснить. Каких-то очень древних, но существующих до сего дня полюсов. Там нет сегодня и завтра. Там времени нет вообще. Осталось дожидаться только, чтобы все разъехались, наконец, на другие курорты и Крым остался для нас. Для комедиантов. И дело не в том, какие условия проживания, грязно, чисто, погодные условия — дело вообще совершенно в другом. Из всех мест я наиболее так чувствую ЮБК. Район Симеиза с его кошачьими символами повсюду. Это мировая розетка. Солнечная батарея. Место, где все временно и все постоянно. Где живут все люди, когда-либо бывшие тут. На ЮБК. Любившие это место. Где ты временно и ты постоянно. Где воздух кипарисовой и можжевелниковой смолой прогрет настолько, что начинает струиться и конденсировать души. Дух. Прямо из морской пены. Здесь понимаешь, что Афродита — не метафора. Здесь время течет тихо-тихо, почти не движется. Грязь, вонь, туристы, фоткающиеся у каждого камня. И этот только отдельными людьми ощущаемый Дух. Пушкиным, Чеховым, Волошиным и иже с ними. Лесей, в конце концов. Они все там, до сих пор. Но трогать их не надо. Музеи посещать. Зачем? Они не любят, они там ЖИВЫ.

В каждой семье из совдепии (хотя я не люблю это слово, в нем — доля презрения к самим себе, к своему детству) есть фотки. Я их много видела еще с детства. Бабушка, патронажная медсестра, брала меня с собой делать старушкам уколы. Интерьер, не менявшийся с 30-х годов, запах старых домов вошли в меня с детства вместе с чувством отсутствия времени. Подрисованные ретушью фотки: бабушка в Ялте. Дедушка на горе Кошка. Мама с папой на Медведь-горе. Тетя с дядей на фоне Адалар. Бабушка у фонтана Ночь. Мама у фонтана Ночь. Я у фонтана Ночь. Счастливые. Живые. Оставшиеся там, в Крыму.

На площади Симеиза стояла девушка с мольбертом. Рисовала старинную полуразвалившуюся виллу «Мечта». Курчавые каштановые волосы, летящая фигура. Амона Фе, принцесса южная, из песни Ольги Арефьевой. Она скользнула по мне взглядом: смуглая кожа, бархатные зелено-карие очи, брови-стрелки, узкие губы. Татары явно не прошли мимо. Летящая прозрачная юбка цвета ящерицы на солнце. Душа Крыма, точно ящерица — мелькнула и скрылась. Вилла была на ее картине протокольно-точной и черно-белой, точно она хотела записать. Запомнить. Запротоколировать. Сохранить. Неуловимо исчезающий и повсюду витающий дух. Напрасный труд.





Она была им сама.

Во внесезонье здесь лучше всего. В сезон слишком много, слишком много лишних аур, хороших и разных. Ребята, в Египте так чудесно. В Турции, Хорватии, в Болгарии, на Кипре и много еще где.

Оставьте комедиантам их приют.

Кипарисы стоят со свечками.

Море — синий платок на ветру.

Знаю точно, что жить навечно

Здесь останусь. Когда умру.

Третье письмо о Крыме.

Я не знаю ничего более пронзительного, чем Крым зимой. Я никогда не была в Крыму зимой. Я просто это знаю. Фильм «Асса» меня пробирает до костей. Не сюжетом, он достаточно банален. Зимним Крымом. Пальмами в снегу. Это действительно жизнь Бананана, а не работа — дом, работа — могила. Это идеальные декорации. Это — Крым. «Сказочный мир, удивительный край». Точка, где сходится прошлое и будущее. Где иногда нужно бывать, чтобы вспомнить. Себя вспомнить. Почувствовать невероятную тоску, обрести остроту восприятия на собственной коже, обветренной зимним ветром на верхушке Ай-Петри. Почувствовать все трещины старинных домов, все разломы гор, всю любовь, что вытекла в расщелины скал, материально и фигурально. Всех, кто когда-либо жил здесь, любил. Это все мое. Какой к черту Кипр? Я из Крыма. Я там прибита гвоздями. Я очень хочу поехать в Крым зимой. С кем-нибудь, кто бы чувствовал движение облаков в небе. С таким же разломленным, как и я. Потому, что Крым зимой — это татуировка на душе. Вечная татуировка. Врожденная вечно свежая татуировка.

Я всегда хочу только очень. Или не хочу совсем. Хочу очень. Поехать в Крым. Зимой. В конце февраля. Или когда-нибудь. Можно в следующей жизни. Пожалуйста.

Мне присылают прекрасные виды. Кипр, Египет, Турция. Молчание ягнят. Ничего не говорящая красота. Красота без ссылки, без пространственных ориентиров. В Крыму говорит со мной все. Грязные каменные дорожки, поломанные пирсы. Недостройки советские — «Из жизни отдыхающих». Развалины 19 века — «Дама с собачкой». В Новом Свете мыл свое молодое тело Николай Еременко. Еще молодой, без отчаянного одиночества в глазах. Каждый, кто здесь был, оставил здесь лучшее. Лучшую часть себя. Свободную часть себя. Может, в этом дело? Свободную, «отпускную» часть себя. Часть своей свободной души. Может быть, единственную, разовую часть. Вот в чем дело. Это не чужая мне земля. Мне здесь не пусто. Я в гостях. Там, где можно посидеть на кухне за чашкой чая, не говоря ни слова. Говоря с собой. Обретая себя в отражениях. Развалины советских пансионатов, санаториев, отблески нехитрого советского счастья, простого и детского. Приехал, выпил,

покупался, уехал. Отблески улыбок, миллионов любви. Это не купишь за деньги. Здесь не рождалась Киприда, здесь всегда жила Амона Фе из песни Арефьевой. Черная фигура на камнях, закутанная в жесткое суконное пальто, наброшенное на татарскую блузу и шаровары. С вечным поиском и одиночеством в раскосых глазах. Вечно глядящая влажной Крымской зимой в бешеные волны холодного Черного моря.

Там, я знаю, все еще жив мой отец. Бродит по кромке воды, рукава закачены, волнистые волосы шапкой вокруг головы. Он ловит крабов, наблюдает рыб.

Третье письмо о себе.

Смотрела в интернете сериал моей половозрелой юности, «Все реки текут». Взметнулся ил отстоявшихся воспоминаний. Вспомнился мальчик со школы. Из того времени. Любовь тогда. Со школы — бегом домой. Ожидание в окне, пока он проплетется мимо. Двоечник. Остриак. Шут. Все жесты и движения свободно разбросаны в пространстве. Густая золотисто-русовая челка вечно нестриженных волос.

Ловлю каждое движение из-за занавески, на балконе. Курю папины сигареты. Ловлю кайф. Он проходит через наш двор, в арку, и я пробираюсь в комнату на другой стороне. Провожая взглядом. Ягодицы очень красивые. Тогда были в моде вещи по размеру. Он исчезает в дымке безликомноголюдных Садов-2. Вечный город за окном. Иногда он шел домой впереди или после меня. Всегда ждала, что он скажет мне что-нибудь, остановит меня. Реально ждала. Ждала на самом деле. Плакала каждый раз. Почему нет? Почему нет? А сколько стихотворной мерзопакости было посвящено этому мальчику, не счесть.

Сцены и воображаемые действия роем поселились в моей голове еще с детства и с тех пор размножаются с невероятной скоростью. Принимание желаемого за действительное сопровождает меня всю жизнь. Мой извечный вопрос «Где ты, Багира?» перекликается с патологическим «Ну почему?» Земфиры. Багирой звали его собаку. Он тоже любил, должно быть, этот фильм со слезливой песней про «умчи меня куда-нибудь, олень».

На выпускной собиралась, точно в атаку. Продумано было все. Дымчато-светло-сиреневое платье в обтяжку до основания ног (остальные были в кринолинах), бледный цвет лица, дымчато-мерцающие тени. Волосыное безобразие присобрано и завитыми локонами как бы случайно разбросано по плечам и спине. Только так, только для него. Я ждала чего-то. Чуда, которого, как всегда, не произошло. Закурила тогда при одноклассниках, впервые. Затягиваясь всерьез, по-мужски, как отец. Поняла, что, возможно, случись это раньше, чудо бы произошло.





Пришла под утро. Мама спросила — ну как? «Хорошо» — улыбнулась я. Села за письменный стол и разрыдалась. От давления несбывшихся надежд. Тщательно нанесенная косметика текла черными потоками по моему еще такому нежному лицу.

Мать ничего не смогла добиться от меня. Как и всегда, когда не ищешь ключ, а ломаешь замок своим собственным.

После выпускного бала я долго заходила в школу, надеялась увидеть его. Проходила мимо его дома. Но, как известно, кого хочешь увидеть, не встречаешь. Причем вообще и никогда. Было ли у нас с ним вообще что-то общее? Тип реакции, точно, да. А еще он любил фильм «Тот самый Мюнхгаузен». Культовый фильм, как говорят теперь. Он был шут по крови своей. По крови, родственной мне. Было это или нет? Или времени нет? Где ты, Багира?

Что изменилось? У меня уже не длинные каштановые волосы, а короткие, черные. Потому что седые. И не загадочная улыбка, а застекленелая носогубная складка. И кожа не персиковая, с пушком, а потрескавшаяся, как тысячелетние крымские горы. Я стою у окна и смотрю, как он идет. И он уже другой, и место уже другое. Курить здесь тоже нельзя (а где и что мне можно?). Папиных сигарет тоже, увы, давно и нигде нет. Стою, смотрю. Та же разболтанная походка. Тот же разброс рук и ног. Тип реакции. Звенят бубенчики. Ягодиц, впрочем, не видно. Нынче такой покрой брюк... Что изменилось? Какие сорок? Осенью понимаешь — главное — именно стоять и смотреть. Ловить кайф. Плакать от тоски и счастья по несбыточному. «Не рядом надо стоять со мной...». Где ты, Багира?

Скомканные письма обо всем.

«Как можно свататься, зная наверняка, что тебе не откажут?» Риторически спрашивал Пушкин. Должно быть, надеялся, что Натали передумает. Тогда поэт остался бы жив. А мужчина? Тем более. Но Пушкин — это особая статья. В нем мужчина чувствуется через столетия. Несмотря на голубые глаза. Женитьба для него мало что, в сущности, переменила. Ибо он, как и всякий поэт, по своей природе полигамен. Любит все. Не наделен при этом чувством собственности. Наделен чувством владения и овладения всем. Поэт, находящий практику в поэзии и поэзию — в самых практических вещах.

Говорю я плохо. Выражаю мысли плохо. Кому-то. Сама себе как раз могу доказать все довольно логично. Такая себе атрофия понятийного аппарата, исключительно когда он используется по назначению — т. е. с другими людьми. Оттого в чьем-либо присутствии (без исключения) чувствую себя немой. Чувствую, как на ходу, на моих глазах меняется то, что я хочу сказать. Трансформируется. Обретает какое-то новое, совершенно мною не предполагаемое значение. Меня слушают с удивлением, да и я себя нередко слушаю с удивлением и думаю: «Что же

это я несую? И как меня еще терпят?» То ли 2-я сигнальная система страшно далека от совершенства, то ли именно мне следует раз и навсегда предпочесть первую? Чувствую себя, опять-таки, Медвежонком. И, по большей части, молчу. От бессилия перед неспособностью даже отдаленно выразить то, что я чувствую. А еще оттого, что, глядя на реакцию других, перестаю уже чувствовать ТАК. У меня на компьютере есть заставка: мыльные пузыри сталкиваются и от столкновения меняют цвет. Так вот, я – один из них. А хочется быть постоянно серо-зеленой, как камни у горы Дива, и меняться только под морской водой, а не от любого дуновения ветра. Но видимо, это природа моя. И еще я хочу писать свои слова. Нет, я знаю, что «прозрачна осень в полусвете стекол» Пастернака. Я, как обычно, о другом. Об уникальности каждого человека. Оттого я не говорю. Я пишу, ручка бежит за моей рукой, не успевая.

Закат. «Вздрагивал, околевая, закат». Владимир Маяковский. Поэт, любимый. Поэт — подросток. Только в этой ипостаси. Вырос и застрелился. Не смог стать взрослым. Умным. Расчетливым. Циничным. Прилечь под кого надо. Не смог. Он хотел по любви. Был, кстати, поэт-художник, что редко. Поэтому живопись и стихи у него замешаны на одной палитре. Его еще очень любил мой учитель рисования. «На чешуе железной рыбы прочел я зовы новых губ» — читал он отрывисто, и мягкие черешневые очи замирали на моем лице. Мне казалось, я растекаюсь и смешиваюсь, как краска на палитре. Рисовал меня на плэнэре, когда каштановые волосы еще были затянуты в косы, а смех открыт и чист. Он брал мою кисть и правил на моем мольберте, на моем листе, в моем мире — какой секс может сравниться с этим? С высоты сорока лет скажу совершенно определенно — да никакой вообще.

«А вы смотрите на него, а он глядит в пространство», — сакраментально заметил поэт. Сколько себя помню, искала кого-то, глядящего в пространство. Не на меня. Я не люблю пристальных взглядов. Расспросов. «Как ты? Как состояние, физическое и душевное?». Вообще какого бы то ни было внимания к моей персоне. Становлюсь неадекватна. Могу расплакаться, например. Могу послать расспрашивающего. Или поцеловать. Зачем и кому это нужно? Расспрашивающие чувствуют это какой-то пятой точкой и молчат рыбами об лед.

Никто из моей семьи не был ни начальником, ни завскладом, ни партийным работником, ни стоматологом, ни мастером холодильных установок, ни пр., др. Просто люди. Просто инженер, прочитавший всю мировую классику, просто учительница, прочитавшая всю русскую классику. Учили меня, что деньги — грязь. Работать, чтобы больше зарабатывать, грех. Человек должен жить духовной жизнью и довольствоваться малым. Тщеславие во мне отсутствует как таковое. Видимо, его ампутировали еще в утробе. Слова «ты будешь лучше» вызывают недоумение. Чем лучше? Для кого и зачем? Разве я сама не

знаю, что делаю хорошо, а что плохо? С детства ненавидела всякого рода соревнования, гонки. Доказывать, что ты лучше? Выиграть негуманно, проиграть — стыдно. Правда, если не удавалось избежать участия, старалась выиграть. Не могла выиграть только у сестры. В шахматы. До сих пор ненавижу. Нет, не сестру. Игру. Мне кажется полнейшим коварством, изысканной подлостью думать заранее, куда пойдет противник. Мне всегда лучше удавался какой-нибудь морской бой или кости. Здесь мне практически не было равных. Кубик слушался меня как дрессированный. Муж, завернутый в полотенце, предлагал сыграть, наконец, в шахматы или шашки, чтобы вернуть себе часть одежды. Но тут я сдавалась сразу. Скучно заранее думать. Планировать. Скучно, невыносимо. Запланированного счастья не бывает. Лишь иллюзия, еще более иллюзорная, чем счастье случайное.

Возможно, именно оттого я до сих пор пытаюсь продолжать метать фишки и бросать кубики. А как иначе? «Разве можно свататься, зная наверное, что не получишь отказ?»

Перебрала свои архивы. Словесный мусор. Битком набитая коробочка из-под 3-х литрового «Каберне». «И мы пили какую-то гадость, похожую на «Каберне». Пила и забивала эту коробку письмами. Стихами и письмами к тем, к кому не могла обратиться. Ибо кто же тогда будет Медвежонком? Это сложно — менять контуры. Но всегда быть Медвежонком скучно. Хочется быть деревом. Или новогодней елкой. Письма, стихи. Уже желтые когда-то белые листки. Жизнь, материализованная в коробке из-под «Каберне». Тысячи фотографий в компьютере. «Сонце в небі, сонце в нас». Мятые, желтые обрывки любви, ее призраки ветра в лицо. Письма не кому-то. Письма себе. О себе. О своем желании быть услышанной. Письма с 10-ти до 40 лет о том, как умирает человек, не реализовываясь. Ибо воистину «работа — дом, работа — могила».

Дед мой, царство ему небесное, чудесный человек, говаривал: «Цыган приучал лошадь не есть. Лошадь почти было привыкла, но сдохла.»

Я писала эти письма, когда мне было 10. Сейчас я еще жива, и все так же их пишу. Теперь уже с пониманием, что не кому-то, а себе. О себе. Имеющий уши да услышит.

Я люблю, как шуршит по бумаге ручка. Это похоже на звук колес. Не люблю наушников в ушах. Не приживаются. Мешают. Не естественно. Не слышу звуков улицы, птиц. Не ощущаю себя существующей. Чувствую такой звуковой чулан. Мне нравится шум города, звук собственных шагов. Я ощупаю себя зверем. Радаром. Мне кажется, я ощущаю Его присутствие в километре от себя. А потом, у меня в голове свой маленький плээр. Радиохит ФМ. Я слушаю не то, что в муках подобрал кто-то левый с целью заработать наконец-то на кусочек домика на

Кипре. Я слушаю то, что мне нравится. Мурлыкаю его. В беспорядке. In shaffle, at random. Посторонняя, навязанная музыка в навязанном порядке раздражает. Заданный мной порядок тут же становится чужим. А я не люблю intrusiveness. Вмешательства. Ни в какой форме. Не люблю музыки в машине. Люблю, когда колеса говорят с дорогой. Слышно голос каждой впадинки, каждого камешка. Ощущаешь себя как часть огромного реального мира. Сексом тоже люблю заниматься в темноте. Оттого, что это убирает массу условностей. Условность времени и пространства. Условность места и действующих лиц. «Ой, как выглядит мой правый большой палец левой ноги?» Я-ты, я-ты при внешних атрибутах исчезает. А вселенная должна периодически сжиматься до размеров я-ты, я-ты. Иначе — аритмия расширяющейся амплитуды.

Письмо об осени.

Каждое время года просачивается сквозь меня по-разному. Но осень и весна — время перемен. Меняется климат, и ты постепенно начинаешь по-другому видеть, по-другому чувствовать. Медленно в тебя входит ощущение смены. Запах смены. Смены восприятия бытия. Одна погода сменяется другой. Облака словно спешат в теплые края. Пронесются как в ускоренной съемке. Ощущение безвозвратности «уходящей природы». Ощущение листа на ветру. Слово с тебя срывают все листья, и одежду, и кожу. Ты чем голее, тем больше на тебе одежды реальной. Приходят ответы на многие вопросы. Объясняешь себе себя. Читаешь свою книгу. Например, почему не люблю ходить на каблуках? Люблю чувствовать каждый камень на дороге. Говорить с дорогой. Ходить плотно, как в индийских танцах, на ступню. Легла бы на тротуар, если бы не лужи. Почему не люблю часы? Не люблю времени. У нас с ним это взаимно. Я полагаю, его нет. Не знаю, что полагает оно. Возможно, то же самое. Видимо, я не люблю не время, а слово, которое его означает. Понятие. И часы. Как класс. Классовая ненависть. Они мне, как сумасшедшему, на руке мешают. Погонялка. Бич. Кандалы.

А еще я люблю пальто. Вневременное одеяние, 18 век, 19 век, серебряный, 20-й. Пальто-пиджак. Потому, что удобно стремительно носиться. Потому, что просто. Потому, что носишься, чтобы с кем-нибудь столкнуться. Мягко. Естественно. Я про пальто. Купила. По случайности, оно как раз вошло в моду. Удостоилась реплики: «Ты выглядишь стильно».

Что такое стиль? Стиль — это стилет. Острие. Конечная точка развития. Это когда ты точно знаешь, что тебе нужно. В каком размере, какого цвета и характера. И так, что ужасно, во всем. Конечная точка самовыражения. Самоосмотр без призмы. Самодосмотр. Саморезюме. Самоанализ. Разборка, самопрепарация, самодеструкция и за ней сборка конструкции более правильной. Более подходящей твоей формуле, плоти и крови. Но все-же конечной. Что потом, после острия? Снова ножны?





Боюсь, что нет. Человек, словно капля на стилете. Течет, стекает, капает, все. Люблю короткие стрижки. Подстриглась бы вовсе коротко. Чтобы кожа просвечивала. Как наложница в гареме, полюбившая раба. Как осужденная. Ведь мы все либо в гареме, либо в тюрьме, что, по сути, одно и то же. Даже если совершенно свободны. Бессильны перед жизнью. Перед внезапностью. Перед осенью. Пред этими постоянными поворотами дороги. Бессильные. Голые. Связанные. Иные дергаются, причиняя себе боль. Им, по крайней мере, не холодно. Иные замерзают без мучений.

Осень. Осень. Постоянная смена. Каждое время года можно сравнить со спиртным. Зима — водка. Холодная в морозных узорах бутылка. Запотевшая рюмка. Горячие блюда. Вылезать из постели хронически не хочется. Ничего хронически не хочется. Весна. Вино с водой. Пиво с солью. Ажурная пена светло-зеленого кружева светится солнцем. Свет теплеет, тени растут. Когда, наконец, включают фонтаны, наступает праздник для городских сумасшедших вроде меня, пропитанных городской пылью. Тысячи людей каждый день приходят отдать фонтанам зимние боли, страхи, сомнения. Слить в сточные трубы. Город становится Городом, приобретает последний штрих законченности, совершенства. Лето — разбавленная вином вода. Питальянски. Фрукты, салат. Лето — когда в фонтаны садится солнце, плавятся кости, под ногами чавкают абрикосы и хрустят яблоки. Когда хочется вылиться в форму совершенно новую. Осень — глинтвейн. С корицей, лимоном и медом. С апельсиновой коркой. Просто подогретое вино. Просто что-нибудь подогретое.

Осень — тоже вино. Голубо-желтая бутылка, сменившая августовскую сливовку, ябловку и абрикосовку, пряно-сладкая настойка, настойка на цветных листьях с прожилками синего-синего неба, глубокого и уже морозного. Настойка на подернутых инеем цветах, на пронизывающем ветре. С запахом прелых листьев. Горящих листьев. Сухих листьев. Костра. Дыма. Холодного и высокого синего неба. Настойка на дожде, на влажно-склизких тучках. Вино осени проникает в тебя незаметно, просачивается, как в губку, как яд в кровь, задерживается навсегда. На всегда до весны. Весна — разрушитель. Она взламывает замки, рушит мосты, срывает шапки, расстегивает шубы и пальто. Убирает прошлогодний мусор. Выметает иллюзии. Осенью хочется вернуться домой, весной — из дома уйти. Осень. Просим. Просинь. Сосен. Осень. О, сень! О, тень! Вес — на! На — весь!

Медленно-медленно ты набухаешь дождем и на тебе проступают скелеты истлевших листьев, следы ног и грязи. По тебе прокатывают линогравюру веток и домов. Ты начинаешь светиться и отражать окружающее, словно тротуар после дождя, и перестаешь замечать грань между осенью и тобой. Ты становишься осенью сам.

Обходи листья, каблуками вбитые в тротуар, один из них — я.

А еще осенью, точно плоды, созревают тексты.

Весной разбрасываешь, осенью — ищешь. Чувства. Мысли. Запахи. Картошку. Весной смотришь на солнце до слез. Идешь против ветра до слез. Весной стоишь под дождем. Осенью под дождем мерзнешь. Осенью ищешь отблеск солнечного зайчика, бежишь боком, точно краб, по ветру. Весной хочется забыть свое имя, а осенью его медленно вспоминаешь, точно находишь на пепелище уцелевшие ключи. Весной хочется быть дождем, осенью — тротуаром. Осенью я кажусь себе пустым поездом, забытым на перроне, чьи окна только отражают светящиеся ленты стремительно мчащихся скоростных поездов. Весной мне кажется, что я сама — поезд, что это я свечусь и еду все быстрее и быстрее мимо стоящих черных пустых составов, и не могу остановиться.

И весной, и осенью меня преследует запах любви. Он тоже разный у этих времен года и времен жизни. И все тот же. Все тот же. Несуществующий. Неуловимый. Не мой. И осязаемый, пойманный, мой. Мой запах любви. «Одна она, ее дремучий хаос, чего-то стоит, Господи, прости».

Третье скомканное письмо о любви.

«Скільки разів, ще не знати, прийдеться вірно любити, за кожним разом співати пісню, що в серці бринить» — слова из очень красивого украинского танго. Богдан Весоловский, моя сквозьстолеетняя любовь.

Я люблю себя, когда я влюбляюсь. Я красива. Я себя чувствую. Я пишу. Писание для женщины есть вещь прикладная. Как и все другое. Поэтому мое словотворчество можно с уверенностью делить на части с указателями: «Сосед», «Одноклассник», «Учитель», «Музыкант», «Коллега», «Врач-хирург», «Врач-психотерапевт», «Врач-стоматолог» и т. д. Когда влюблена была в первый раз, не припоминаю. Может, в вечно сопливого 5-ти летнего мальчика Пашку, жившего по соседству, который со всех девочек, по примеру старших братьев, стаскивал трусы. Не буду утверждать. Но осознала себя с уверенностью, что ЭТО уже было, и было безответно. Видимо, со мной у Пашки не вышло. Так с этим осознанием в подсознании я и живу.

Второго звали Юра, это точно, ему было семь. Он был высокий (для своих лет) голубоглазый блондин и у пятилетней девочки сердце уходило в живот, когда он выходил на соседское крыльцо. Ну и далее, далее. Острее всего, с кучей словесного хлама, с ожиданием встреч, со слезкой, отложились одноклассник и учитель рисования. Последнего встречаю до сих пор. Помню, он отчитывал меня, а я омерзительно хихикала и выделывалась, как могла. Носила жуткий белый свитер с черной розой на груди. Игнорировала замечания, правки, огрызалась, болтала на занятиях. Мне было тогда 13, и единственным способом привлечь к себе внимание было отталкивание. Это, впрочем, застряло и

по сей день. Чем сильнее мне кто-то нравится, тем глубже я забираюсь. В устрицу. Тоже мне, женщина-жемчужина. А тогда я была просто подросток, по уши влюбленный. По уши в кучах бумаги, исписанной стихотворной мерзостью. На выпускной я подарила ему букет роз. Два года после окончания школы еще ходила на какие-то платные курсы — единственно, чтобы только видеть его. Он был близок мне. Близок по типу реакции. По растрепанности чувств. По нестандартности общения с действительностью. Любил Маяковского. Носил черную шляпу, и, конечно, имел чернильно-черные глаза. И еще. Он был живой. Не урезанный. Не ушитый. Не подогнанный. Это качество более-менее свойственно всем мужчинам — жемчужинам моего ожерелья.

Затем был шут. Одноклассник. С реальным черным догом — Багирой. Широкие плечи, узкий таз. О нем есть небольшая повесть, написанная довольно давно, когда воспоминания имели силу спиртного — забыть, забыться.

Был еще врач-стоматолог, с карими глазами, из той же категории паяцев. Он так умело заговаривал зубы, что вырывать их уже не составляло особого труда. Одно из стихотворений, посвященных ему, без особых переделок было подарено врачу-хирургу. Тот принял его за предложение руки и сердца и тут же согласился. Ожерелье временно затянулось. Потом ослабло. Потом был музыкант, снова врач, и даже англоговорящий бельгиец. Все в стол. Потом был... О нем писать не буду, слишком свежо.

Оттого делаю вывод, что важна мне любовь как состояние, а к кому — не столь важно. Состояние тоски и отчаяния. Состояние самонесчастья. И через него — обостренное восприятие действительности, необходимый мой допинг. А почему? Из-за кого? Какая разница, раз все равно Багиры не существует... Раз ее несуществование так же реально, как и ее мираж...

Когда умирает женщина, рождается поэт. Да здравствует поэт.

Письмо о танцах.

Я всегда любила танцевать. Под любую нравящуюся музыку. Под «Юнону и Авось», от начала до конца. Под «Колибри». Под Патрисию Каас. Подо все нравящееся. Импровизировала. Физическому развитию родители не придавали особого значения. Я ходила в художку, где часами сидела за мольбертом, постоянно и запоем читала, была длинной и вечно сутулой, как рыболовный крючок. На дискотеки меня долго не пускали (зачем?). Когда начали пускать, я обнаружила, что танцую не так, как все. Перенять несложные движения «королев дискотеки» было несложно; к тому же, моя подруга танцевала брейк и учила меня «класть руки на стекло» и другим интересным приемам. Модная ламбада вообще не стоила труда, и вскоре нравящийся мне мальчик из соседнего класса на очередной стрыбалке пригласил меня. Мы классно потанцевали, но

лучше б он молчал. Что ж, я всегда предполагала, что идеал нельзя трогать руками, и в очередной раз убедилась в этом. В институте я ходила на дискотеки в «остров Лесбос» в нынешнем «Спейсе», где тусовались одни девочки. Пить легально было нельзя; танцевать было попросту скучно. Изредка забредающие туда связисты, находящиеся в вечных поисках «большой и чистой любви», абсолютно не вдохновляли. Далеко не платонический роман с одним из них не стоит ни одного печатного слова.

Потом, потом я пошла на восточные танцы. Хобби-класс. Пошла от отчаяния в тот период, когда сама себе напоминала либо рыбу на крючке, либо кошку на раскаленной крыше. Тогда же ходила на хор. Пела. Хор окончился тяжелой депрессией. Я влюбилась в руководителя хора (разумеется, кареглазого), да и вообще я петь очень люблю, а хор распустили. Вот так. Руководитель хора еще долго звал на «частные занятия», но что-то меня остановило и правильно остановило, как оказалось впоследствии. Танцы остались и по сей день; благодаря им я еще жива. Восточные — пластичные, нож в масло, «змеевиднее, змеевиднее»; индийские — «повтори, не понимаю второе слово в первом куплете» — резкие, эмоциональные — объяснили мне одну ранее неизвестную вещь. Точнее, известную, но не прочувствованную. Танцуя древние танцы, подключаешься к биосфере, к астралу, но не на уровне рации, а на другом, более высоком и не доступном для нетанцующих уровне. Это реальный кайф. Да и палитра импровизаций значительно пополнилась за счет восточных движений. Танцуя постоянно, ты начинаешь ощущать себя, каждый мускул, как от качественной любви. Чувствуешь, что ты еще есть. Становишься музыкой сама. «Музыкой волн, музыкой ветра». Выплескиваешь себя. Воя в хоре, вытягиваясь и сокращаясь в танце. Мне есть что выплеснуть, т. к. крышка на моем чайнике периодически съезжает.

Образы кипят в моей голове, точно рыбы, поедающие хлебный мякиш. Кучи ненарисованных картин, известных мне до мелочей, точно я их все-таки нарисовала.

Крымский цикл. Я мечтала из своих фотографий сделать картины. Идея такова: отпечатаешь фотку на цветном принтере: выходит, разумеется плохо и туманно. Затем тушью рисуешь, прорисовываешь на каждой горе сулуэт женщины. Я их видела. Дива, конечно. Борьба, любовь, страсть. Женщина спящая — Медведь-гора, Кошка — женщина-сфинкс. Адалары — женщина и ее душа, либо зеркало, и т.д. Это бы здорово было. Где оно? А сколько стихов убежало, придя не вовремя. Страшно подумать: они ведь томятся где-то в плену... У них не может быть другого автора. Где-то они все собраны, не сделанные мною вещи. В вакууме нереализации. Где-то существует восточный танец, придуманный мною под песню «Амона Фе». Мой танец. Танец меня,

который никто за меня не станцует. Он там же. А сколько песен, не спетых так, как их могла спеть только я, никто другой. Песен меня. Это все черный ящик моей жизни. Вина моя и грех перед собой в том, что не сделала почти ничего, а знаю, что могла бы. Очень многое не то чтобы гениальное. Индивидуальное. МОЕ. Моя вина. Перед собой в первую очередь, конечно. И любила мало. Непростительно мало. Себя в том числе. А ведь могла бы...

Черный ящик моей души...

И тем не менее я — хронический аматор. Аматор по группе крови своей, которая проступает на рукаве. Аматор, который от слова *amateur* — любить. Любитель. Всего и всех. И не немножко, а только сильно. Оттого и всех. В чем и признаюсь. Всем вам, условно-реально-материальным адресатам.

Надоело ловить свои мысли за хвост. Стайку рассыпающихся серых мышей. Я отпускаю эти письма. Сдуваю с ладони, и следую далее за солнцем...

«Поскольку поздно, я не спешу...»

2010-2011

Стихи

2010-2012

Сонце в гілці я знімаю,
Сонце в небі, сонце в нас,
Те, чого не вистачає,
Я знімаю раз у раз.
Зачароване повітря,
«Колокольный тихий звон»,
Посмішки, дерева, квіти
Я збираю в телефон.
І солодкий сум кохання,
І ясні осінні дні —
То лиш знімки, фото сонця
На тобі і на мені.

Осень. Листья сгребают в кучи,
Словно созревшие чувства в стих,
Солнце в дымчатых скрылось тучах,
Город умер, и ветер стих.
Только дымок, только пламя душное,
Только забытый с годами слог,
Выгребли память, как листья жухлые,
И подожгли, и уплыл дымок,
И поднялись в небеса прозрачные
Неизвестно кому предназначенные
Эта чувственность, утонченность,
Избирательность, непрощенность,
Этот дым вчерашнего дня,
Когда ты еще помнил меня.

Я нарисую на стекле
Огромный город в многоточьях
Огней и оттисков витрин,
Любовей в отблесках и клочьях,
Где я одна, где ты один,
Где в лабиринтах отражений
Внезапно совпадают тени
Ненарисованных картин.

Где, как и раньше, свет и звук,
И поворот, и впечатленье,
Важнее, чем несовпадение,
Уставшее тревожить вдруг,
Где в текст сливаются следы,
Где горечь не пригубишь ты
Души, настоящей в стакане,
Окрасившей любовью грани
Моей зауженной судьбы,
Где все хозяйева — рабы,
Где вдруг становится так важно
Переплетение дорог,
Которым не сойтись однажды,
Которым не увидеть ног,
Весь этот город, твой и мой,
Наполненный иным значением,
Забытый, вспомненный, коктейльный,
Звучащий волнами в ушах,
Запутавший в тенях и снах
Двух душ заблудших отраженья
На обезлюбленной земле
Я нарисую на стекле,
На выдохнутой тучкой дымке,
Сотру, и зачеркну картинку,
И отвернусь от пустоты,
Где всюду исчезаешь ты,
И где оставленный проем
Оттиснут был с огромной силой
На лист обугленной души.
Не отрывайся, не дыши —
Я контуры не наводила.

Мое сердце на дне Рейхенбахского водопада
За горами, долами, за небом синим.
Ты его не услышишь, стоя рядом.
Проберись по кромке, вдохни тот иней.
На краю Рейхенбахского водопада
Ты стоишь, бросая очей звезды.
Не смотри, там ночь пропиталась ядом,
Слишком рано теперь, или слишком поздно.
Лишь качаясь над нитками Рейхенбахского водопада
Можно в пене увидеть звезды, а в небе — пену.

Ты нырни поглубже, войди в каскады —
Я под свитер сердце твое одену.

Когда я на него смотрю,
Со мною говорят предметы.
И лестница, рукой согрета,
Мне шепчет: «Стой, не уходи,
Замри ладонью на перилах
И будет не в твоих уж силах
Переменить хоть что-нибудь».
И тротуар ей вторит — «Будь,
Замри, не исчезай отсюда,
Пусть это только лишь причуда, —
Никто так не ласкал меня
Ногою, легкою, как пламя,
Не исчезай, останься с нами,
Мы ждем давно такого дня».
Следов и веток грязный плед
Беззвучно всем предметам вторит:
«Постой, я допишу сонет
О той, что с призраками спорит».
Мне шепчет дерево: «Коснись
Меня своей рукой игривой.
Пусть снова будет все красиво:
Мед в рукаве, вино из уст».
И город, и дома кричат —
«Остановись, замри, не двигай,
Иди, беги, кричи и прыгай —
Люби, мы ждали, как земля,
Сто лет стоящая без влаги.
Люби, пиши. Лишь лист бумаги
Тебя без фальши отразит».
Со мною небо говорит,
Оно мне шепчет: «Слушай, слушай,
Душа живет, душа болит —
Зачем тебе другие души?»
И, даже если нет ответа,
Я тени света им дарю.
Когда я на него смотрю,
Со мною говорят предметы.

Ты вхож в меня, в мои немые сны,
Ты в случаях отчаянья приходишь,
Без слов, без мысли. И меня уводишь
На каменные плиты тишины.
Без обстоятельств времени и места,
Без объяснений смысла и причин.
Там только пол, немой участник действия,
И нас объединяющий, один.
Там стены без картин, без глаз, без окон,
Там серый цвет — зерно первоначал.
И не дай Бог, чтоб кто-нибудь проснулся.
Поставил точку. Что-нибудь сказал.

Благословляю жінку, що їй ти
Несеш, мов душу, ті весняні квіти,
Що з нею легко бути, легко йти,
Здолати битий шлях, дітей ростити.
Що ледь бринить в навушниках, мов шум
Легкого вітру струнами тополі,
Мов джерело, мов кришталевий струм,
Що зцілює усі потоки болю.
Що має присмак твій і колір твій,
Що здатна розчинятись і зникати,
У мене ж колір небезпечно мій,
Спадково мій, від матері і тата.
То колір туги, сум за небулим,
За простором, що не у цьому світі,
І колір цей, п'янкий і вічний струм,
Життя мені не вистачить допити.
То туга за містами, де ніде,
Ніяк, ніколи не була й не будеш,
Лиш образи зринають де-не-де,
Лише обрис того, за ким затужиш.
Те коливання, вічні терези,
Ніщо й ніхто не зможе вколихати.
Мене знайшли в зникаючій росі,
Я мить, що є, не здатна покохати.
Благословляю жінку, що тобі
Поправить комір, поцілує очі.
Нехай майдан перейдеш без журби.
Хай будеш ти. Хай буде так, як хочеш.

Той напій з музики і слів
Я не поділю більш ні з ким вже.
Бо бач, не хочу класти спів
На сльози і на вірші.
Ти так далеко знаково,
Хто зна, чи пишеш вірші
Однак, вже мені однаково —
Ні, то і не пиши.
Я б, може, й поділилась,
Але вже не з тобою,
Я б, може, й написала,
Але вже не тобі.
Тільки боюся, місяць
Згасне у тім напої —
Може б, когось струїла,
Може, налила б собі.
Вже мій ліміт отруєнь
Вичерпано, і межі
Всі вже давно перейдені,
І не діждать чекань.
Що то за повінь, Господи,
Та тільки не належить
Вже, як раніше, ніч мені —
Всю я зібрала дань.
Так, той напій на повені
Хай вистигає повен,
Я вже не буду пити —
Тільки зірки збирать.
Може, побачиш сяючу
Чарку на підвіконні —
Те і твоє, що бачить.
Бачити і мовчать.

День згасає в серці моєм
В місто моє крокує ніч
В місті надії ми живем,
Лише мене поклич, поклич.
Напиши мені листа
Ти і ти, ти і ти —
Напиши, бо наше життя —

То є листи, лише листи.
Чи то дойде він, чи ні,
Чи то будеш завтра не ти,
Все одно — напиши мені,
Бо життя — лише листи.
Напиши мені листа,
Ти і ти, ти і ти —
Напиши, бо наше життя —
То є листи, собі листи.
День без тебе, без тебе ніч,
День для тебе, ніч для тебе —
Якщо зможеш, то поклич,
Ні —то я покличу тебе.
Напиши мені листа...

Приколихай-но, музика, мене,
І почуття, мов хвиля, в тобі згасне,
І вийде з вітром, і мине, невчасне,
Мов сонна риба, зникне в глибині.
Налий мені у склянку каламутну,
Сумну і сумну світлу рідину
З гілками сонця, синю, незабутну,
Останній розчин згаданого сну.
Той сон — то ти. То те, що прогоріло.
Перегоріло, попелом взялось.
На тім тобі усе було скінчилось.
На тім тобі все знову почалось.

Есть взгляды, легкие, как пух,
Есть взгляды острые, как бритва,
Есть взгляды — пуля между двух,
Есть взгляд — приказ, и взгляд — молитва.
Есть лишь касание струны,
Переплетение узоров,
Есть взгляд вернувшихся с войны,
Есть взгляды — дым, и взгляды — порох.
Есть взгляды вечности на дно,
Колодцы есть и есть скрижали.
Аминь, аминь. Мне все равно.
Твой шоколадный взгляд на стали.

Ты отразишься на рисунке стен,
Ты отразишься на осколках лета,
Когда на окнах умирает день.
Я подниму и соберу все это.
Я выложу коллаж, сложу поверхность,
В которой, может, различу себя,
Свою рассортированную нежность,
Рассеянную всюду без тебя.
И тень твою, упавшую в проем,
И силуэт, безвременьем размытый.
Я так хочу тебя увидеть в том
Калейдоскопе, в детстве позабытом.

Дорожное

Что видим мы? Лишь пыль из-под колес.
Что слышим мы? Беседу их с дорогой.
Что чувствуем? Качающийся воз,
Повозка иль «Ниссан» — равно немного.
Недолго солнце греет наши дни,
Их промывает дождь и сушит ветер.
И дождь ли, ветер — мы всегда одни
На этом неменяющемся свете.
Прозрачна осень в солнечных узорах,
Прозрачны чувства в паутине дней,
Ты снова здесь, ты снова на рессорах,
Ты смотришь вдаль на призраки полей.
Пусть лиш слегка коснется ветер шеи,
Твоих волос и прилетит ко мне.
Мне жаль, что не могу и не умею
Я петь как ветер в стриженной стерне.
Один лиш сон, ковер из пятен солнца,
Он заплетает тени в пересвет,
Лишь ветер тащит занавес в оконце,
И тишина. И веток шум в ответ.
Останови на мне свои зрачки.
Мне горячо, когда их вижу рядом.
Пускай лишь вскользь, лишь мимолетным взглядом
Скользни по мне, как будто мы близки.
Останови на мне, направь в меня
Бездонные, безвременные очи,
Как будто призрак отгоревшей ночи,

Без тени света, отсвета огня.
Твои-мои-мои-твои глаза —
Сосуд, перетекающее пламя
В расплавленную ночь. И небеса.
И только звон бубенчиков над нами.

Лучшим представителям ♂

Стелю под ноги коврик из стихов,
Обои облаков леплю на стены,
Из музыки огонь, вода из слов,
И ванна из морской холодной пены.
Чтоб вам так всем сдыхать от нелюбви,
Чтоб вы так все из века в век страдали,
Чтоб, как в лесу, ори, кричи, зови —
В ответ бы вам пожизненно молчали.
Чтоб вам так быть невидимым для чувства,
Чтоб вам, как мне, пришлось врасти в стену,
Чтоб вам так БЫТЬ. Без снов, без безрассудства,
Без звука, без движения, в плену.
От этой безразмерной пустоты,
От этого забвения немого,
Чтоб вам так всем существовать убого,
На чувственности вкапывать кресты.
Под слоем штукатурки бьется пульс,
Под веками покуда тлеет пламя,
Пока еще жива, еще я с вами,
Но с каждым днем все тише я скребусь.

Дерево на ветру,
Туча на небе я,
Пыль под ногами я,
Лист на дороге я.
Плавлюсь и пью жару,
Падает тень моя,
Тлеет душа моя,
Теплится жизнь моя.
Пир на дороге я,
Столб на дороге я,
Камень в дороге я,
В дороге, верно, умру.
Умру, не зная, зачем,
Не зная Тебя, умру.

Свеча оплыла к утру,
Фонарь расплылся к утру.
Умру в дороге Твоей,
Тем счастлива буду я,
Тем буду гореть светлей,
Там вырастет тень моя.

Стук колес. Моя неволя,
Мой небесный сад.
Поле, розовое поле,
Травяной закат.
Сколько жизней в этом поле
Едем мы с тобой?
На закатной на неволе,
На земле чужой?
Синей поезд, белый поезд,
Красная трава
Сколько дней с тобою едем —
Не нужны слова.
Ем в повозке. Сплю в повозке.
Песенки пою.
Под колесами полоской
Вижу тень твою.
Поле, розовое поле,
Травяной закат.
Каждый здесь — забытый клоун,
Чей-то бывший брат.
Каждый камень на дороге
Говорит со мной,
Я об них сбиваю ноги,
Слыша голос твой.
Ты приходишь и уходишь,
Шут без колпака,
И твоя легка походка,
И душа легка.
Твой портрет незаштрихован,
Светел силуэт.
Пусть стучат, стучат подковы,
Есть ты или нет.
То ли небо, то ли осень,
То ли светлый сон —
Догоняет через просинь

Колымагу он.
Я смотрю. Линяют краски,
Одевает лес
Фиолетовые маски,
Сумерки небес.

Я допью три капли лета,
Ты допьешь три капли лета,
Неожиданно сойдутся,
Точно веки после дня,
Двери, двери, двери, двери,
Кнопочки, замки и куртки,
Створки лета, устья, окна
В роковой замкнутся круг.
Перекроет запах тела
Прогреваемого солнцем
Запах вылежалой ткани
И безудержной тоски.
Только лестницы, пролеты,
Разлинеено оконце,
Молнии, замки, запреты,
Звуки зимней тишины:
Хлопанье дверей, мобильных
Сиротливое жужжанье,
Звук шагов, почти затихших
У преддверия зимы.
Закрывайся, утепляйся,
Затыкайся, затемняй,
Запечатай, заблокируй,
Закодируй, забывай,
То, что где-то греет солнце,
И рассветы, и закаты,
И, прожаренная солнцем,
Кожа излучает свет.
Застывай, пока живой ты,
Засыпай, усни, укройся,
Чтоб не видеть, чтоб не слышать,
Как пульсирует ответ.

Погода как будто устала
Злиться на нас, и вот
Уж ползимы пробежало,
А дождик упрямо льет.
Как лил он такой же ночью,
Как лил он таким же днем,
Когда, облаками в клочьях,
Шатались и мы с тобой.
В Крыму взошли эдельвейсы,
Ускорили реки бег,
На черных забытых рельсах
Не тает столетний снег.
И время бежит упрямо,
Опять замыкая круг,
И где-то забыты драмы,
И где-то оставлен Юг.
Сто лет нам стоять не вместе,
Глядеть на осколки гор,
На этом прошедшем месте,
До снова прошедших пор.
И где-то стоит тот поезд,
Пустынями глядя в ночь.
Ничто ничего не стоит.
Все так же стекает дождь...

Я не помру в 101-й там, де померла в сотий,
Хоч би й хотіла, любий, життя не стане, —
Привид, що пам'ятає, де буде вбитий,
Хай фігурально, але у живу ще рану.
Так, вже життя не стане, бо в серці маю
Сіро-коричневі камені, сині вірші,
Надто коштовні, щоб забажати раю,
Надто живі, мій любий, і надто *інші*.

Пишеш вірші про спогади і дощі,
А вітер шепоче інше мені вночі,
А сонце фарбує мій однобарвний шлях,
Й волосся злетіти хоче, неначе птах.
Пройшла моя туга тобою, немов зима,

Злилася у стійні труби гнила вода,
Не винайдеш в серці того, чого в нім нема,
Не вичавиш замість «ні» неправдиве «да».
Вже не у мене від серця мого ключі,
Я їх згубила, шукаючи тінь твою.
Той, хто знайшов їх, затято про це мовчить,
І, мов намисто, носить печаль мою.
Не зупинить весну, не полетять назад
Пташки, розкривши крила своїй душі,
І не зів'яне листя, не змовкне сад —
Тричі пиши про спогади і дощі.

Ти смичком моє серце не смикай,
В нім обірвані струни всі.
Все. Напевно, в мені до віку
Змовкли звуки і голоси.
Скам'яніла моя природа,
Заніміла любов моя,
Зроду я не ввійду в ту воду —
Броду в тобі не знайду я.
Я лиш вибухну — і на попіл.
Я лиш навпіл — і до кінця.
Не чекай — ні тепер, ні потім,
Не чіпай. Бо згоріла, вся.

Контур, тень, силует
Изгнанника.
Ты это или нет?
Гальваника.
Голос как током бьет —
Гальваника.
Рыбой молчи об лед,
Бомж «Титаника».
Снова, навеки, вновь —
Гальваника?
Всюду вода-любовь,
Паника,
Свет из немой воды,
Облака.
Это все-таки ты —
Гальваника.

Будь, просто будь, свет,
Пока.
Больше меня нет.
Гальваника...

Тост

Пью за тебя. За то, что не возьмешь,
Не удалишь, не вычеркнешь, не выпьешь.
Пью за тебя. За то, что ты не слышишь,
И за надежды неразменный грош.
За du e soldi, два гроша надежды,
Да — да, нет — нет — все тот же приговор.
Мелодия, услышанная прежде,
Чем был задуман мир — до этих пор.
Надежды на гроши, надежды на века...
Валюта сентября, весны, зимы и лета,
Одна всему цена, нестертая монета,
Мелодия любви — и ты живой. Пока
Все то, что хочешь взять, и что готов отдать ты:
Улыбку, слово, смех, или тепло души,
Надежду на века, надежду на гроши,
И лишь ее одну примеривать, как платье.
Когда тебе без четверти «стонадцять»,
Когда все «да» равны, по сути, «нет»,
Когда ты самому себе признаться
Боишься, сколько ожидаешь лет,
Когда все то, что лично, то ничто,
Когда вся жизнь стекает в решето,
За du e soldi, два гроша надежды,
За право не просить ни да, ни нет,
Лишь ожидать весну одну в ответ,
Холодный воздух пить, и, как и прежде,
Пить за тебя, за жизнь, за силуэт,
За тень твою, за два гроша надежды...

Вечер. Весна. Все теплей и теплее,
В воздухе явственней запах дыма.
Гул во мне нарастает сильнее,
Точно с гор понеслась лавина.
Мне ли бояться этих заносов,
Или закосов? Что точнее?
Время любви, как всегда, без спросов,

И без вопросов, без разрешений.
Ангажемент надежды заверен?
К черту надежней ангажементы!
В веру вступил он и будет верен,
Будет он в вере — будешь живой ты.

Идет навзрыд, напропалую ливень,
Как будто бы весна пускает кровь,
Как будто бы в строку, опять клин клином,
Без приглашенья просится «любовь».
Как будто бы вся жизнь, что застоялась,
В замерзших трубах, ржавых и кривых,
Вдруг отошла, и чистота осталась,
И паутина спала с глаз моих.
И дробь дождя на зеркале из луж,
И шаль огней за окнами ночная,
И эта капель музыка простая,
И эта общность одиноких душ,
Окно напротив, чей-то обрис темный,
Душа напротив, занавесок дрожь,
И человек, как я, влюбленный в дождь,
Иль просто так же, как и я, влюбленный.
И, подойдя к озябшей батарее,
С глазами настезь, восклицает дочь:
«Ой, мама, посмотри в окно скорее!
Как ярко и красиво *светит* ночь!»

Удлиняются жизни теней,
Солнце моет потоками город,
Таает долгий и длительный холод,
Тают маски на лицах людей.
Подставляя горячим лучам
Почерневшие за зиму лица,
Все идут и идут вереницей
По залитым весной площадям.
Все идут, и светлеют асфальты,
И светлеют от света глаза,
И все то, что зимой загадал ты,
Уплывает дымком в небеса.
Эта дымка прозрачного света
Над чернильным шатром из огней —

Это города сны и секреты,
Слабый отсвет бессолнечных дней.
Дым несбывшихся зимних желаний
Просветлеет, растает к утру,
Рассветет муравейник из зданий
Светом солнечных снов на ветру.

Пространство обретает свет и звук,
Пространство контурируется солнцем,
И то, что возникает между двух
Листвой зеленой светится в оконце.
Неясный дым окутывает нас
Весенним шлейфом на пустых страницах,
И я одна прочитываю в лицах
Трагедию, комедию и фарс.
Пространственно, вневременно, внеместно
Ты календарь переплавляешь в свет,
И я плыву в лучах твоих, как песня,
И невозможней, и прекрасней нет.
И призрак солнца в одиноком сердце,
И запах листьев на моих губах,
Повсюду ты, и никуда не деться,
Не обрести покоя в ярких снах.
Не покидай меня, лечиться поздно,
Лишь жить, и ждать, и чувствовать - позволь,
Любовь моя. Столетняя заноза,
Столетиями нелеченная боль.

Что сложить в костер? Чем согреть
Занемевшие за зиму руки?
Стихи, что смолою тянутся из зарубки,
Становясь все прозрачней от строки к строке?
Свои ветки и листья, «частини тіла»,
Ссохшиеся от многолетней засухи?
Тысячи пазлов меня, не слагаемых никогда?
Зимы, весны, точно ступени вверх?
Пробужденье — головой о дверь?
Засыпанье — на коврике у двери?
От чего зажечь? Спички
Отсырели от вечности и не тлеют,
Фитилек мой выжег внутренности и стух.

Ты.

Спускается солнце в ладони мои.

Снова

Сочится эта корявая проза,
Приговором, привычным циклом,
Самонарезка сущностей скибками,
Самозкибана свежесрезанных страстей.

Лучик, замри на моих глазах,
Не уходи, я свечусь тобою,
Не оставляй, не хочу покоя,
Вычекань след на моих следах.
Близкий свет, ты такой далекий,
Метка света, тату на мне,
День, и другой, и опять, во сне,
Где-то под кожей пылают щеки.
Солнечной росписью на песке,
Солнечным бликом на блеклой суше
Выжги тавро на моем виске,
Вычекань солнце на наших душах.

Моя зарубка затягивается смолой,
Боль, не стихая, пульсирует новым светом,
Чем объяснить, чем понять все это?
Разве тем, что рядом с тобой?
Живут по-другому те, кому *надо* жить.
Я яд научилась пить не пробуя, залпом.
Пусть только пульсирует эта живая нить,
Меж нами кем-то натянутая с размахом.
Я вижу солнце уже в толщине воды,
На дно опускаясь потушенной сигаретой,
И где-то там, внизу, пульсируешь ты,
Остаточной мыслью, остаточным «этот, это».

2008-2009

Все кончено. Все наши поезда
Давно уехали, такси давно уплыли.
Кто скажет нам, мы не были иль были,

Как эти полустанки, города?
Я продолжаю слышать поезда,
Свистящие на Киевском вокзале.
Когда-нибудь я вновь приду туда,
Тебя увидеть в полутемном зале.
Тот мальчик без прошедшего, и та,
Та девочка без будущего, вместе.
Взглянуть на них лишь мельком. Поезда
Всегда уходят, не стоят на месте.
Оставим им вокзальный тронный зал,
Пластмассовый коньяк и вечный вечер.
Безвременья коронный карнавал
Пленительней, чем временные встречи.
Раз нету пункта Да и пункта Нет,
То расстоянья не имеют смысла.
Мы где-то в невесомости зависли,
Где вакуум, стерильность — пустота.
В тумане растворяясь по частям,
Ты скрылся за углом, бесплотен, зыбок,
Я не умею больше верить снам
И собирать пыльцу твоих улыбок.
Я жить хочу. Мне надо тихо встать,
Бесшумно написать стихотворенье,
Пока ребенок продолжает спать.
Я продолжаю думать, рифмовать,
Упорствовать в желанье продолжать
Упорно путать жизнь свою с вареньем.

Разные улицы одного города,
Аллеи упадка и забытья,
Разные листья осеннего золота,
Параллельные линии — ты и я.
Первый холод, разный для нас,
Листьев гладь, угасанье осени,
Разный отблеск оконных глаз,
Рваные разного неба простыни.
Там, где встречаются ночь и день,
Там, где одежды души изношены,
Где-то свою оставляешь тень,
Где-то на след наступаешь брошенный.
С тенью своей сочетаюсь вдруг,
Радуюсь детски ее присутствию,

Вспомни о линиях, милый друг,
Призрак ладони в руке почувствуя.
Разное утро того же дня,
Разные лужи рассветно-синие,
Тени забытые, ты и я,
Ты и я — параллельные линии.

Цветы раковин, глаза звезд —
Все лучшее повторяет форму солнца.
Твоя раковина похожа на звезду —
Такая объемная полосатая звезда
Желтого цвета.
Раковины и звезды вообще похожи —
Звезда — это тоже где-то бывшая раковина,
Раковина – упавшая в море звезда.
Смотрят друг на друга сквозь стекло воды,
По ночам вообще меняются местами.
Мы были когда-то друг другом тоже:
Звезда моя — ты, я — твоя раковина.
В зеркале воды твой свет не жжет и не греет,
Просто душа томиться неясным
Ощущением общности с тем, чем была когда-то,
Что было ею. Заглянуть в раковину
Можно, лишь убив ее. Вспыхнет,
Играя искрами, луч на холодных сводах.
Хорошо, что море — море, а небо — небо.
Все, что можно поймать, не нужно,
Потому как таможня на границе неба и моря,
Хоть и невидима, столь же существенна,
Как и всякая другая.
Один лишь раз
Звезды смотрят в раковины,
Свободно падая в море,
Звезды выходят из раковин,
Свободно падая в небо.

Тоска навек меня взяла,
Как пыль осела на предметах,
Завесила остатки света
И на душу мою легла.
Проев и сердце и мозги,

Она в тумане растворилась,
Расплавилась и расслоилась,
И все пространство заняла.
Привыкнув к ней, как к пауку,
Живущему в углу напротив,
Я как-то даже и не против,
Я берегу свою тоску.
С тоскою выпиваю чай,
Тоскою моюсь из-под крана,
С тоской зеваю невзначай,
С тоской встаю не слишком рано.
И нет ни помысла, ни дня
Без этой мороси холодной,
Без этой жидкости безводной,
Без негорящего огня.

Я жду тебя, как ждут на полустанке
Заброшенного города состав:
Не веря, без надежды, без остатка,
От ожидания до смерти устав.
Я жду тебя, как ждут на маяках
Корабль, давно ушедший к горизонту, —
Скалой, уставшей мерзнуть в облаках,
Иль деревом в давно забытом понте.
Я жду тебя, как можно только ждать,
Чего, ты знаешь, никогда не будет,
Лишь это знанье может силу дать
Стоять, разочаровываясь в чуде.
Не приходи, не появляйся здесь.
Не нарушай. Я — ожиданье есть.

2007

Ужасно чешется старая шкура...
Мелкие чешуйки, перья, сказки,
Принципы, идеалы, бесформенные мечты,
Чешутся, блин, просто до невозможности —
Треться об кого попало,
Обрывая в клочья собственную душу,
Пугая одичавших за зиму людей.

«Вам не больно?» — Спросила девочка-парикмахер,
расчесывая.

«Оставить длину? Отрезать?»

«Режьте коротко. Короче. Еще короче».

Если б можно было отрезать память.

Тебе 18. Ты не знаешь, как может болеть любовь.

Как больно

Отдирать вместе с кожей свои иллюзии.

А волосы? Скальпируй меня — я вряд ли замечу.

Люди, не знающие, как ты должна выглядеть,
С кем встречаться и как себя вести,
Незнакомые города, не видевшие твою злость,
Отчаянье, слезы, истерики,
Встречают тебя, обнимают и топят
Почерневший лед, плавят каркасы,
Заливают воск в новые формы,
Ткут тебя заново из нитей своих улиц,
Раскрывают объятья без лишних вопросов,
Безликих слов и привычных масок.

Я слышу звонок телефона. Наверное,

Ты звонишь, а я, как всегда, не слышу.

Достаю телефон, ищу твой номер. Нет.

Видимо, мне послышалось. Вот, СМС, кажется.

Или это у соседей кричит ребенок?

А вот

Навстречу идет девушка и говорит по телефону.

Может, она говорит с тобой? Красивая. Смеется в трубку.

Снова звонок. Подхожу. Тихо. SMS? Нет. Звонок. Тихо.

SMS. УМС вітає вас. Звонок? Нет, это в бак потекла вода.

А вокруг одни девушки, женщины, бабы,

Беспрерывно говорящие по телефону.

Пространство

Заполнено звуками принимаемых и отправляемых чувств.

Стоит непрекращающийся шум электронного водопада мелодий.

Мне кажется, у меня в голове оркестр.

Я скоро смогу разбирать слова и тексты.

Но и тогда я не смогу понять твою фразу:

«Зачем? Мы виделись утром».

Если это форма любви, скажи,
Что называется словом ненависть?

Рыжая девушка сидела напротив
В грязном парке городской окраины.
Она расположилась, точно жить,
На заплеванной скамейке на солнцепеке лета.
По-хозяйски разложены вещи, газета, сумка открыта,
Три бутылки пива — две на земле и в руке.
Она говорила по мобильнику. Слезы
С косметикой вместе текли по щекам,
Точно ливень
После года жары.
Говорила, кричала, потом
Бросила трубку и пила пиво.
Выпила бутылку, набрала номер
И снова
Плакала, просила, точно сама с собой.
Наплевать на всех, как будто на кухне — пила,
Пока не набралась по уши. И
Зазвонил телефон — отбила вызов. Набрала номер.
Я ушла. Не было сил
Видеть этот пьяный душевный стриптиз,
И не зайти в ответной транзакции.
Ты не знаешь, милый, о чем
Плакала девушка своему мобильнику?

Этот танец с ножом затеял ты, не я,
Ты вытащил нож, поиграл им, спрятал.
Это не игрушка, детка.
Я заморожено смотрю в даль,
Я очарована блеском стали,
Я делаю полумусяц бедром и тряску,
Я играю с шалью, как с женщиной,
А с женщиной как с ножом.
Ты теперь отойди. Музыка уже звенит,
Горят, потрескивая, факела.
В пещере духа я, разгоняя духов шалью,
Начинаю танец с ножом.
Или разговор?
Ты теперь отойди.
Между мною и мной ты лишний.

Ты напишешь рассказ «Двадцать четыре часа из жизни...»
И на том спасибо, о Мудрый Каа.
А что еще делать
С женщиной 33 лет с умом мужчины,
Восприятием подростка и максимализмом юности?
Трахнуть? Еще, пожалуй, привяжется.
Да ей это и не нужно, наверное.
Ей бы только отдать этого, который
Бьется изнутри и не дает жить, как все,
Превращая скуку бытия в яркие полотнища занавеса.
Зрители платят актерам, а в жизни — наоборот,
Не так ли, о Мудрый Каа? Спасибо тебе.

Подождите! Вы случайно не исповедник?
А Вы? Нет? Как это обидно...
Вы постоите здесь немножко —
Всего-то с полчаса. Это не больно —
Послушать все-все-все. И уйти.
Некогда? Тогда, возможно, Вы?
Вас можно? Я не маньячка, нет!
Ну зачем мне Ваши деньги? Я сама Вам дам...
Только стойте здесь. Здесь. Не уходите. Нет!
Ну вот, уже ушел. Дверь хлопнула.
Шаги. Гудки. Тихо...
Подождите! Вы, случайно, не исповедник?

Не было, не было — ничего из того, что могло быть,
Только случайные люди, случайные встречи,
Притянутые за уши повороты судьбы,
Жизнь прошла с точностью до наоборот
К желаньям, и замыслам, и планам.
Какая-то мутная борьба
С вымышленными и реальными обстоятельствами.
Потомственный алкоголизм,
Потомственная истерия, плюс разнообразные дары,
Ни с какой стороны не приспособляемые к жизни.
«Немножко духов, немножко лени».
Скомканые страницы тетради,
Исчерканные кривые записи.
Вопрос лишь в том, кому

Адресовался этот черновик?

Не мне ли?

Милый, помнишь «Безымянную звезду»? Не хочу.
«Ты конечно, прав, Грик, ты всегда прав»,
Звезды и цветы и чувства не живут в норах.
А я? Мышка? Температура 38.
А может, бывают на свете поезда,
Которые едут либо в пункт «да», либо в пункт «нет»?
Что посередине? Никогда я не узнаю, что там,
Только неясный свет
Так и будет брезжить из-под пледа. Если, конечно...
Нет? Да? Но без тебя... Грустно? Нет.

Дверь. Налево. Да. Направо. Нет.
Заперто. Решетка. Чуть брызжет свет.
Витые ступеньки ведут ввысь.
Смотри, не оступись — смотри. Не рвись.
Оборвешь с мясом — проболит жизнь.
Так. Выше. Выше. Смотри. Держись.
Там, наверху — синий шпиль.
Строчка-готика внутрь и вширь.
Все построено по параллелям грез:
Направо — лошадь. Налево — ее навоз.
Закроешь лицо, покажешь масть —
Карта ляжет иль даст упасть?
Пропасть или прбпасть, не все ль равно?
Пить отраву из трав иль отравленное вино?
Почему осторожно выбираю шаг?
Почему несмело читаю знак?
Почему боюсь, после стольких лет,
Тень лица его увидеть в просвет?
Неужели нет, неужели не все равно —
Пить отраву из трав иль отравленное вино?
Но пока на башне горит свет,
Поднимаюсь. Налево. Да. Направо. Нет.
Кто остался там, у резных ворот?
Лишь ступеньки — вверх. Поворот — вперед.
Не закрывай двери, не говори «нет»!
Слышишь? На «ты». Налево. Да. Направо. Нет.
Даже игра света есть отраженный свет.

Я, может быть, тебя искала долго,
Но приближаться к свету не хочу.
Боюсь садить колибри на иголку,
Боюсь в лампаду превратить свечу.
Ты знаешь сам, как идеалы хрупки,
Как ярко-привлекательны лубки,
И объяснять не надо, и рассудком
Таких дорог отмотаны клубки.
Давай зажжем напротив эти свечи,
И пусть надежда не растает в дым,
И пусть в рассвет не перельется вечер,
А ночь пирует с кем-нибудь другим.

Так, говоришь, патриций, Рим, говоришь?
Все на своих местах и полифункционально?
Страсть к совершенству так же анальна
Как и любая другая, Мальчиш-плохиш.
А чем там в Риме закончилось, знаешь, да?
Варвары, знаешь, найдутся на каждый Рим.
Если с неба сорвется твоя, патриций, звезда,
То, сгорая, оставит лишь копоть, и гарь, и дым.

Следишь, точно кот за мышью,
Мои воспаленные жесты, и
Тебе интересно это, как возня насекомых в траве.
Разобрать игрушку, посмотреть устройство.
Только
Ты забыл: нас двое — я и она.
Пока ты разбираешь ее на части,
Я страсти твои слежу, препаратом.
Мне интересно это, как возня насекомых в траве.

Когда после трех месяцев непрерывного пьянства,
В которое сбегашь от собственной трусости,
Вдруг выходишь на улицу, видишь траву и грязь,
Причем во всех деталях, что вовсе странно,
Когда, превращая простыню в жгут,
Впервые за десять лет задаешься вопросом —
Что там горит над стадионом ночью — звезда ли, прожектор,

Когда тебе становится невыносимо интересно,
Замерзает ли море зимой,
Когда в автобусе передают песню,
Только что звучавшую у тебя в мозгу,
Когда мужчины останавливают взгляд,
Точно вправду видят что-то живое,
Когда ты, матерясь, задаешь себе забытый вопрос:
"Ну и на хрена тебе, детка, все это надо? В твои-то годы..."
Вне зависимости от ответа,
Это всегда означает, так или иначе,
Одно и то же.

Волна и плен, магнолия и камень,
Луна — алтарь в моем монастыре.
То прозу волочу мешком с костями,
То пью, то ем, то думаю стихами,
Свой сухостой сжигая в их костре.
Могу ли я остановить твой ветер?
А главное, зачем и для чего?
Ведь каждому свое на этом свете —
Нет смысла консервировать его.
Муссон, пассат ли — всем свои дороги.
Звездою быть накладно, не с руки:
Немеют руки, отекают ноги,
Картины превращаются в лубки.
Я не хочу, не жду, и не способна
Остановить распадок и рассвет.
Ты просто будь. Будь как тебе удобно.
Привет или счастливо, да иль нет.

Болезнь художников — боязнь
Прозрачной пустоты бумаги —
Мне не грозит. Любой маразм
Я переплавлю в строк коряги.
Боязнь бумаги — лишь боязнь
Того, что, в общем, самоценно;
Желанье побороть соблазн
И уступить одновременно.
Желанье выразить себя,
Боязнь несовершенства слова,
Желанье жить и быть, любя

И страх почувствовать другого.
А твой листок — он только твой,
Захочешь, так оставишь белым,
Захочешь — нарисуешь бой,
Захочешь — нарисуешь тело.
Захочешь — скомкаешь его,
И подожжешь, и всех согреешь,
И новый вытянешь. Легко
Опять в нетронутость поверишь.

Французская зима без запаха и цвета
Спустилась, как туман, и в души разлила
Какой-то странный джин с предчувствием ответа,
С намеком на весну, с иллюзией тепла.
Деревьев бязь усеяна огнями,
Сияет морем бликов, как вода.
Старушка-ночь, как подобает даме,
В прозрачном шелке едет в никуда.
Прозрачен вечер, как линогравюра,
На старых красках — новый силуэт.
Возьми перо, и нарисуй фигуры,
Изобрази закрученный сюжет.
Когда захочешь ты и если сможешь,
То нарисуешь заново меня.
Порой в доспехах, а порой без кожи,
На перекрестке сумерек и дня.
Себя изобрази под фонарем,
Ни завтра, ни вчера, а на картине.
И, может быть, в засмотренной витрине
Случайно отразимся мы вдвоем.

Вечер такой, что хочется выпить, как рюмку водки,
Занюхав Средиземноморским циклоном, где-то вдали от всех.
Желательно на траве, возможно, что под забором,
Рассказывая истории, имеющие к правде жизни
Отношение самое косвенное. А вместо того
Плетешься, словно домой, на каторгу,
Разглядывая ясные, честные лица окон.
В каждом своя, по-своему семейная драма:
Жены, мужья, подруги, дети подруг и жен,
Каждый по-своему прав, каждый по-своему честен,
Каждый по-своему верит истинно лишь в себя.

И для чего, простите, натягивать эти банальные рифмы,
Если они не лезут на знойный декабрьский день?
Берримор, посветите Сэлдону в окошко,
Может, сегодня, на Ваше счастье,
Собака сработает вовремя, трясина не подведет.

Ни до, ни после, ни потом,
Ни за, ни вместо и не вместе,
Лишь этот взгляд, и этот крестик,
И прядь летучая над лбом.
Я стисну в пальцах эту боль,
Я задушу ее в объятьях,
И выпью выдох. Лишь позволь,
Все, что могу, могу отдать я.
Пусть будет ночь, пусть будет поезд,
Из ниоткуда в никуда.
Твоя душа, мой низкий голос
Пусть хлынут током в провода.

Один неуловимый запах
Остался там, где мы с тобой
Лежали на листве примятой
И целовались над рекой.
Мой бег, твое повиненье,
Куда ни глянешь, зеркала.
Увы, остановить мгновенье
Моя любовь не помогла.
Куда не глянь — стволы и скалы,
Куда не кинь — песок и зной.
Как ты не дуй, не вспыхнет пламя,
Зажженное одной рукой.
Бегу, бегу и нет мне места.
Пустынный и пустой ландшафт.
Остановись, присядь, и в детство
Уйди, чтоб завершить гештальт:
Любви искать, ее бояться,
Искать, боясь потерь и трат,
Искать, чтобы найти в пространстве
Безлюдный, бесконечный тракт?
Твой вакуум, моя дорога,
Твой взгляд недвижимый в пустоту,
Мой бег, мой поиск и тревога

Не совпадут. Ты прав. Cest tout.
Один неуловимый запах —
И я готова вечно ждать,
А ты — бежать в ночи и плакать,
Любви бояться и искать.

Она толкнула двери в его сны...
Вошла, не поздоровавшись,
Огляделась по-хозяйски,
Улыбнулась. Скорчила гримаску,
Разложила вещи, протерла пыль.
Переставила мебель в своем
Причудливо-неудобном порядке,
Открыла окна, закрыла шкафы,
Разделась, разбросав все вещи вокруг,
И легла на старый ковер, замерев
Новым причудливым азиатским рисунком.
Когда он уснул, он не узнал дома.
Стал в дверях, не веря в происходящее,
Глядя на все, узнавая и нет,
Думая, уйти или остаться.
Все его вещи смотрели новыми лицами,
Зеркало также отражало чужое лицо.
Так стоял он часами, спиной в двери,
Не находя в себе силы вернуться домой,
Не находя в себе силы домой уйти.
Взгляд его останавливал
Причудливый азиатский рисунок
На старом ковре из детства.

Что Вы знаете о любви, господа?
Она заразна, как чума или грипп.
Она приходит, стучит в окно, но
Открыть ей не уже можешь, ибо
То ли ключи потерялись, то ли замок в двери заржавел.
То ли просто не слышишь стука, так как
Вообще никаких звуков давно не слышал.
Думаешь: мне все это снится, и продолжаешь спать.
На кой черт мне, отшельнику, гости?
Чем их кормить? Чем топить камин?
Дрова еще растут далеко в лесу,
Простынь давно истерлась и почернела.

Какая любовь? Вы шутите, господа?

Кому нужно

Это простудной природы заболевание?

Надо выдержать инкубационный период - 2 дня.

Если не помогло, промучиться две недели.

Но только двери ни в коем случае не открывать.

Сквозняк, осложнения, ангины, ревматизм,

Опять же, сердце. И где договор о Любви,

Дающий гарантию на Сообеспечение Счастьем?

Где печати, подписи, где замок, ватно-марлевая повязка,

Чтоб, не дай Бог, ее не случилось снова —

Той смертельной, забытой нами болезни,

Вроде чумы, лихорадки, кори, тех,

От которых давно нашли лекарства и противоядия,

От которых умирать как-то даже неловко.

Кассандра, Кассандра, сидишь себе и сиди!

Тихо, молча, задумчиво, да не хлещи коньяк.

"Вот тебе и раз", — стоит сказать Штирлицу,

Как неизменно ему откликается Борман.

Боже, я столько тебя просила —

Долго ты думал, да?

Кто что хочет найти, кто что знает, что хочет -

Никогда никто не скажет, ибо

Играешь в рулетку — шарик падает в лузу,

Кий натрешь, а вращается барабан.

Телефон трется во всем теле,

От звука голоса бросает в дрожь,

Хочется раствориться в воздухе, но не дает улыбка.

Хочется растереться в пыль под твоими пальцами и потерять пыльцу.

Видишь себя со стороны без одежды и даже уже без кожи.

Хочешь одеться — и никакой одежды, кроме тебя.

Вся остальная жизнь уже не имеет значения.

Совершенно неясно, куда и зачем идешь.

Студенты-психологи

Нагло предлагают свои услуги в обмен на «залік».

Окружающие говорят, что ты говоришь не так,

Делаешь не то и это вообще не ты.

Смотрят, ищут в изменившихся чертах

Какие-то знакомые фото, но их уже не осталось.

Просто к зеркалу подошел другой человек,

А если другое зеркало, баш на баш?

Десять негрятят решили пообедать...
Поживем — увидим. Сиди, Кассандра,
Тихо, молча, задумчиво, да не хлещи коньяк.

Весна перетекла из луж осенних
На этот недоперепитый день,
И призраков январских светотень
Растаяла на солнечных сплетеньях.
Прозрачен воздух, голова пуста,
В мозгах напухли веточки и почки,
И только ты — единственная строчка
На вакууме чистого листа.

Коктейль твоей сверкающей души
Сбивает с ног, и не могу дышать я.
И это знание может задушить
Едва ли не сильнее, чем объятья
Я шепот рыб в прозрачной глубине,
Склоняясь над тобою, наблюдаю.
Я в глубине или она во мне?
Не спрашивай. Я не скажу. Не знаю.
Ты — бабочка на рукаве моем.
Я — след твоей давно прошедшей жизни.
Мы вместе — порознь, порознь мы вдвоем,
Ты — мой корабль. Ты на пути к Отчизне.

Твои стихи, мой драгоценный яд
В уродливой пластмассовой мензурке —
Я все беру. Когда отдам назад,
Не знаю. Остаются лишь окурки.
Я все верну. Я все беру на время.
Я все отдам. Когда-нибудь потом.
Найди меня. Найди. Хоть на мгновенье
Останови живым своим теплом.
Твой образ отпечатался навеки
С обратной стороны моих зрачков.
Приди, взгляни, и подними мне веки,
И ты увидишь свет своих стихов.
Себя увидишь ты, каким ты любишь,
Увидишь в ярком световом пятне,
Каким ты есть, когда-то был и будешь,

Юлія Стыркіна

Каким ты нужен и себе, и мне.
Найди меня. Найди когда захочешь,
Найди в начале иль в конце пути,
В тоске утра и в сумеречной ночи,
Когда и где захочешь. Но найди.

Кто захочет написать мой портрет сегодня,
Пусть ищет,
И, увидев мельком в переулке под фонарем,
Растушует серый туман с весенним сиреневым запахом,
Внепространственность, безвременье, межсезонье,
Проступающие контуры бывших и новых конструкций,
Теплый и нежный воздух, блуждающий в переулках ночи,
Точно мелодия, еле слышимая — есть ли, нет ли.
Это будет гораздо точнее, чем
Копировать фотографии, сделанные лишь вчера.

Отцу

Помнишь твою фотографию:
Девочка, сессон,
Открывающая дверь в свет.
Глаза, распахнутые в мир Зазеркальных образов.
Помнишь мою фотографию:
Ты в проеме двери,
Пушкинский профиль,
Смотришь вниз и немного внутрь.
Помнишь? Забудь. Спи.
Пусть тебе приснятся окна.
Ночные утром, солнечные в ночи.
Мы приходим в двери, уходим в двери.
В дверях висели качели, разве не так?
А жизнь — это окна, проходящие мимо окна.
Окна в себя, мир, пространство
Откуда приходим, куда уходим потом.
Загляни в окно с той стороны —
Увидишь меня. Я в зеркальной комнате,
Где меня так много, где только я...

Мы входим в двери и уходим в двери.
За стенкой — черно-белое кино,
Где расчлняем мы свои потери,

Рисуя жизнь? Картину? Иль окно?
Мы дверь толкаем, входим в старый дом,
Порой ногой, порой рукою нежной,
Потом уходим. Щелкаем замком,
Смиряться с темнотою неизбежной.
И окна, окна, окна на пути:
Страницы, карты, лампы, книги, лица,
И хочется идти, идти, идти,
Лететь на свет и в эти окна биться.
В окне, как призрак, возникаешь ты.
Дверь открывать, пожалуй, очень рано:
Все окна, двери, форточки — лишь раны
На теле бесконечной пустоты.
Я постою у двери. Слишком пусто.
Не в форточку (там звезды и Луна).
В окно, в окно! Там сумерки и чувства,
Свобода, неизвестность, даль, весна...

Картина мира,
Обретя свою дисгармонию, сложилась
В мою мозаику. Люди, вещи, предметы,
Чьи-то мокрые ноги, детали дождя и запах
Берут меня, как и раньше. Моя планета,
За столько лет позабывшая Землю,
Глядит, как и раньше, на девочку города,
Набирающую стихи в телефон посреди тротуара.
От этого взгляда мурашки бегут по коже,
Слезы бегут по щекам.
Я вхожу в старый двор, где бродит Луна
И моя молодость. Где юность
С глазами непуганых снов легко открывает задвижку,
Что открывали и мать, и бабка тысячи лет назад,
Где рядом и двери, и окна,
Где прошлого нет, а время берет тебя
Точно река, и крутит в своей воронке.
Я сегодня того, кто меня может взять —
Девочка города, и твоя немножко.
Ты же знаешь, принадлежать двоим — безумие,
Которое, как известно, только вначале страшно.
Еще одно окно распахнулось в объятия вечности.

На светлом кружеве заката
Я прочитала профиль твой.

Но смысл его людской приборой,
Смывая города и даты.
На черном кружеве деревьев
Себя резинкой стерла я,
Но проступила тень моя
Из вновь сливающихся звеньев.
Мой взгляд забыл твое лицо,
Он ничего не отражает.
Туманно города кольцо,
Огни домов под утро тают —
Нас жизнь берет без лишних слов,
Нас город стискивает страстно,
Не оставляя нам ни снов,
Ни слез, ни радостей напрасных.
И, точно ветка на ветру,
Стучу в окно, стараясь вызвать
Твой силуэт, твою игру,
Твои глаза, твой светлый призрак.
Мы встретимся в объятьях снов,
Усталые, больные дети,
На синем кружеве домов,
На сером кружеве столетий.

Когда придет моя весна,
Я позади оставлю город,
Где тает снег и тает холод,
Где тает жизнь моя. Одна,
Я крылья черные сомну,
Засуну где-нибудь за полкой,
Я напишу свою весну
Строкою, призрачной и тонкой,
Всех оптом, в розницу прощу,
Сожгу стихи свои и письма,
Всю жизнь, что зацвела и скисла,
Себе самой я отпущу;
Весенний дым своей одежды
Достану из шкафных глубин,
Перчатки, шапку, душу, сплин
Засуну вглубь. И, как и прежде,
Вдохну черемушный дурман,
Вдохну сиреневую робость,
Стакан, коньяк, самообман

Возьму с собою в невесомость...
Но лишь сутулый силуэт,
Прозрачный и до слез знакомый
Я буду рада в сказке новой
Увидеть в контражурный свет.

Что такое любовь, как не одно большое заблуждение?
Что такое любовь, как не одна большая ошибка?
Что такое любовь, как не метод вернуться домой?
Мы учили логику. Заблужденье — просто способ вернуться домой,
Правда, слегка обратный. Давай
Все подпишем. Род, число, семейство.
Дату поимки и даже способ. И все.
Вернемся домой, в самом деле. Кто сказал
Что мы лучше, чем есть. Он ошибся всего на градус.
Назовем все своими словами. Превратим
Все в словесный мусор, определим цену.
Погрешность 0, 0001 не в счет. 0,0001 градус
Определивший, в общем-то, практически все,
Не впишется во 2-ю, как ни старайся.
Желтый+красный не дают оранжевый. А должны?
Забудем свои цвета. А вдруг
Выйдет что-то новое? Или вообще не цвет?
Что мне делать с органическим неприятием вчера?
Вчера как понятия, вчера как состояния, вчера как времени суток?
Он бы понял меня, он. Он один. Понимать не значит смешивать.
Желтый+красный. Петя+Оля. Забор не лжет.
Местоименье мы - изначально обманно. Означает
Лишь множественное число. И то довольно абстрактно.
Что значит: мы пошли? Да пошли мы... Пошел ты и я,
Беззлобно перебрасываясь мелкими протуберанцами жизни.
Не суй ножик в устрицу. Закроется. Или сломаешь. Давай!
Сделай то, что там дальше идет в твоей партии.
Ты, конечно, убьешь королеву, но при одном условии:
Если она не исчезнет вдруг из своей квадратной клетки.
Любовь как слияние. Как исчезновение. Как смерть. Моя.
Ты есть. Я тебя уверяю. Гораздо больше меня.
У тебя есть почерк. Лицо. Фамилия, имя. Привычки.
Какая-то Юлечка. Условно-контурная. В брошенной шкуре
Мне чудится что-то знакомое...
А себя
Я называть не стану. Потому что меня нет.

Есть ли хоть кто-нибудь, кого тоже нет? Ау...

На третий день стало совершенно ясно:
Все предметы говорят твоими голосами,
На разные лады окликаая меня по имени,
Во всех окнах отражается силуэт тебя.
На третий день стало совершенно ясно:
Нормальное положение тела горизонтально,
Все одеяла мира должны быть красного цвета,
Всех мужчин следует перекроить под тебя.
На третий день стало совершенно ясно:
Если не встану, не поменяю
Окно, одеяло, имя мое, тебя,
Едва родившись, на третий день я умру.

Пьяные стихи домохозяйки

Я знаю наизусть все сборники рецептов,
Лишь суп из крапивы отсутствует везде.
Под кожей у меня все антрепризы предков:
Сварю его во сне, в бреду, не важно где.
Вся жизнь моя как суп из молодой крапивы:
Один Меня любил, но Жизнь любил сильней.
Другого Я люблю, Он умный и красивый,
В объятиях Моих, на подиуме — с Ней.
О Боже, я люблю твой замысел упрямый:
Она — Другого, Он — опять Ее.
Свари из крапивы, заправь густой сметаной
Свой сотнежальный суп. Что сварить, то твое.

В мені без тебе сенсу мало:
Немов вітрила в глибині,
Де навіть згадку ніч приспала,
Я душу муляю на дні.
Пусти мене на хвилі моря,
Бавовну вітром розтягни,
Я попливу туди, де зорі,
Назустріч місячній весні.
Бери мене на абордаж,
Співай піснями у вітрилах,

Чекає твій стрімкий міраж
Рабиня в ланцюгах і крилах.

Весна бринить, немов струна,
Простягнута в моєму серці,
У твоїм вітрі порина,
Дзвенить, і бавиться, і рветься.
Лише твій біль мене тримає
На межі між людей живих,
Дзвени, співай, бо добре знаю,
Де буду я без сліз твоїх.
Як існувати поза тебе,
Не думати про тебе вдень,
Не знати те, чого не треба,
Не слухати твоїх пісень?
Насправді трохи зле мені,
Бо прийму все лише від тебе,
Не розрізавши землю й небо
В багатті сліз, у сльоз вогні.
Я знаю — не знайду тебе.
Але побачу зірку тую,
Що вела, вестиме й веде,
Що промінь провідний дарує.
Лише до тебе я іду
Не вниз, а вверх по східцях ночі,
Лише в мені тобі знайду
Я відповідь таку, як схочу.

Ніде, ніяк, ніхто із них
Не знає пекло мого раю,
Ніхто не бачить, як зі щік
Я лезом сльози прибираю.
Ніхто не бачить на ножі
Кристали сліз, кристали солі,
Ніхто не бачить уночі
Сліди непізнаної долі.
Усмішку жодну не зітру.
Султан і бранка свого стану,
Сама-ж бо лезо я гострю
І сіллю підживляю рани.

Не знала я, что можно привязать
Меня на боль сильнее, чем на цепи.
Не знала я, что можно понимать
И принимать тебя — на этом свете.
Ты слижешь слезы, выпью я твои.
Едва дыша на лезвиях любовных,
Я прошепчу, что песню о любви
Еще никто не спел из слов условных.
Ты не спеши. Не убивай тот миг,
Когда страданий — тьма, а неги — бездна,
Распни меня на выдохах твоих,
На вдохах, может случиться, я исчезну.
Но где, и как, и кто еще поймет
Твой странный половинчатый упадок,
Когда желаний взболтанный осадок
Весь наверху, а жизнь - наоборот.
Но я не воробей, я все прощу,
Я так люблю, не ощущая боли,
Теряя страх, свою теряя волю,
Свою любовь, которой я дышу.
Не штукатурный тон, не промокашка,
Не называй и имя не ищи.
Я — лакмус, сине-красная бумажка,
Стандартный тест на суть твоей души.
Держись. Лежи на лезвии ножа.
Не двигайся. Не прекращай движенья.
Не разбивай меня. Я отраженье.
Зеркальный амулет. Твоя душа.

Пять дней, как бабочки, резвились,
Не зная срока и конца.
В друг друге души затаились,
Оттаяли чуть-чуть сердца.
Остались лишь пустые тени
А души живы в той земле,
Где все как есть, где нет сомнений,
На острове. На корабле.
Где весь наш мир в зеркальной глади
Задуман отраженьем снов,
Где небо, в синь морскую глядя,

Рождает вечность — и любовь.
Я буду там с твоей душой,
Разбавленной вином и счастьем,
В земле, где пенится прибой,
Где кошки странно-крымской масти.
Останься лучше там со мной,
Чем здесь с моей уставшей тенью,
Я отзовусь в тебе Луной,
Приморских дней счастливой ленью.

Сбиваю пламя страха спиртом
С лазури флага моего,
Моим слезам, давно умытым,
Не оставляя ничего.
Никто из тех, кто флаг мой знает,
Не различая "нет" и "да",
Мне не поможет. Истекает
Отрезок неба. Все — вода.
И лишь с улыбкой Моны Лизы
Слезами пепел оболью,
Ни с кем другим — далек ли, близок —
Миг радости не разделю.
Мой флаг, Мой герб, Мои святыни —
Под кожей у меня отныне.

Никто не дорог так, как ты.
Никто так в кулаке не держит
Всех чувств измятые цветы,
Все мысли, чаянья, надежды.
Никто не брал меня, как ты,
Не умоляя разрешенья,
Предчувствуя мои следы,
Преследуя мои сомненья.
Никто не знает так, как ты,
Мои-твои пустыни в джунглях,
Невыразимые мечты,
Цветы в оазисах подлунных.
Но то, что в мире существуешь ты, —
Возможно, лишь мираж из пустоты.

Напой меня, напусти мне
Мотив любви, мотив желанья,
Я вспомню — истина в вине —
В распитии и в ожиданье.
Твои слова — мои следы.
Мои следы — твое молчанье.
Вокруг остался только ты —
Твое-мое очарованье.
Твои глаза в моих слезах,
В моих слезах — твое прощенье.
Я не могу ни продолжать,
Ни прекратить твое мученье.
Ты есть во мне вполне буквально,
Вино же в истине — банально.

Занавес. Аплодисменты. Слезы.
На глазах у зрителей. Слезы и дрожь по коже.
С той стороны и с этой за рампой — розы.
Зрители и актеры были — одно и то же.

2004-2005

Весной, когда небо открывает глаза,
И каждая грань отвечает ему отраженным светом,
Даже на разбитом корпусе «Арго»
Плещутся бездонные блики моря.
Посмотри на меня — ведь звезды смотрят с неба,
Солнце дарит тепло всем живым,
Дождь поит реки голубой водой, —
Я просыпаюсь от твоего взгляда.
Только одна мысль иголкой где-то на глубине:
Зачем, детка, ты не пошлешь все это,
Ведь ты точно знаешь, чем кончается и весна, и лето,
Ведь тебе даже лень рифмовать слова?
Спроси лучше у весны, зачем она
Каждый раз взрывается, как петарда,
Устилая белыми хлопьями лепестков
И тела, и души, и беды?

Спроси у травы, зачем она
Прорастает сквозь прошлогодний мусор,
Казавшийся таким значимым?
Спроси у голубей, зачем они
Трутся на крыше и воркуют
С первым лучом солнца?
Они ответят тебе внятнее меня,
Потому что я сплю,
Просыпаясь только, когда ты играешь с музыкой,
С солнечной музыкой искрящегося дождя.

Я — окурок города. Через меня
Фильтруется дым миллионов автомобилей.
Природа давно потеряла свои исконные краски.
Я смотрю на сияние зеленой листвы и не вижу ее —
Мне привычнее мерцающий экран телевизора.
Иногда подойдешь к дереву поближе,
Увидишь: прожилки на листьях, паутина, пыль города.
И неожиданно откуда-то изнутри
Брызнут глупые сентиментальные слезы.

Хотите любви?
Будет Вам любовь.
Самое главное — не соглашайтесь сразу.
Не говорите сразу «да»,
И еще: не подходите ко мне близко.
Потому что любовь, как Вишну, имеет три ипостаси:
Флирт, Секс и собственно Любовь,
Только никто не хочет в этом себе признаться.
Бальзам-на-душу-три-в-одном — самообман,
Из-за этого происходит страшная путаница.
Я видела лица двух божеств,
А третье прячет свое чело где-то за горизонтом.
Я знаю, как встретиться с ним лицом к лицу,
Но не знаю, хочу ли этого.
А Вы знаете ли, которой из богинь
Готовы принести жертвы?

Я бы не стала, но
Видеть — тяжело,
Не видеть — тяжелее.

Опусти руки на клавиши —
Я буду смотреть на тебя.
Так проще, но ты
Не любишь расстегивать душу.
Ты смотришь мне в левый зрачок —
Рыжие глаза Макиавелли.
«За рыком, за ростом»
Не видно, насколько редко
Заглядывает в них солнце.
Не говори со мной.
Слишком многое
Никогда нельзя передать словами.
Черная и белая краски
Становятся одной — серой.
Плохой хороший человек,
Ты уже все сказал.
Опусти руки на клавиши,
Я буду смотреть на тебя.

Мне хотелось бы наблюдать тебя,
Чтобы ты об этом не знал,
Целый день с утра и до ночи.
Как явление природы — из дому,
Через стекло наблюдаешь грозу,
Не замочив и пальца.
Зачарованно, как за игрой
Рыб в аквариуме,
Наблюдать за твоими движеньями,
За игрой света на твоём лице.
Веришь ли?
Единственно ради процесса.

Зачем я выращиваю деревья на балконе?
Они никогда не вырастут в лес.
Зачем я всматриваюсь в даль,
Ищу синее море за крышами многоэтажек?
Его нет там.
Зачем я ищу белые звезды в осенней листве?
Осенью не цветут цветы.
Зачем мне нужно видеть тебя?
На залитом пепелище не будет огня.

Зачем надеяться нужно непременно на то,
Чего, ты знаешь, никогда не будет?
Иначе — невозможно...

I won't see you exidently,
Walking round the place you live,
At friends or concerts or restaurants,
Down or up the town.
I will see you never,
Noway, nohow, nowhere, no,
Because of knowing it so well
I wanna meet you so.

При свете дня, без рампы —
Усталый пожилой мужчина,
Астеник, не слышащий посторонних,
Отвечающий другим на свои вопросы.
Дисконтактный, зависимый
От всех и вся. Точно обломок
Когда-то сияющего огнями парусника
На дне, весь заросший тиной,
Облепленный густым слоем
Своих иллюзий и чужой жизни.

Самое любимое время суток
Когда город, как губка, впитывает темноту,
Пронизанную огнями бесчисленных окон,
Сочными летними кронами деревьев.
Пройдусь поглядеть, зажглась ли звезда
Вашего окна на моем небосклоне.
Нельзя рассказать любовь,
Нельзя
Нарисовать смену темноты и света,
Изобразить время, когда уже нет дня,
А ночь еще не упала. А телефон
Перестал отвечать Вашим голосом.
Любовь — сумерки сознания.
Когда видишь все и ничего конкретно,
Когда точно знаешь, о чем забыл
Или никогда не знал о себе тот, кого любишь.

Когда в нем на миг воплощается иллюзия
Божественной, никем не познанной игры в любовь.

Полтава. Черные колонны деревьев,
Белые колонны зданий. В них
Вечер играет с солнцем в прятки.
Тротуар, закипая солнечной пеной,
То уходит в зеленое кружево листьев,
То сам ложится под ноги.
Ничего не люблю я так,
Как этот провинциальный город
С его изумительной скульптурной лепкой
Достоинств и недостатков равно.
Вы и я — только блики на фасадах вечного города,
Тени живых на лице Времени.
И все же, все же
Хотя бы сейчас, хотя бы голос...
Гудки...

Чайка плачет над волной,
Просит хлеба. Ей
Вторит монотонный шум прибоя
И воркующие людские голоса.
Я прошу мимолетной встречи,
Безразличного взгляда. Мне
Отвечает прибой вечного города
Гудящим потоком
Застывших в движенье машин.

Море
Мелет камни и стекло,
Пластмассу и детские игрушки.
Не спрашивая,
Забирает себе все и всех.
Премальывает даже застывшие обломки городов,
Такие, как мы с тобой.
Стоишь и чувствуешь себя мелкой галькой,
Которой веками забавляется прибой,
Выполаскивая в соленой воде
Закоченевшие судороги цивилизации.

Параллельные линии не пересекаются.
Тени, бывает, встречаются
На кладке городских стен.
Есть ли ты? Нет тебя? Кто ты?
Нужны ли ответы на вопросы
В принципе, если
Линии жизни сходятся к горизонту.
На чьем небе тогда взойдет луна?
Кто чью тень почувствует на своей тени?
Ты ли мое отражение, я ли твое?
Крылья дали? Нет ли? В дали
Нужны ли ответы на вопросы
В принципе, если
Параллельные линии не пересекаются.

Поляна затянута красными флажками закона.
Земля укутана серой пленкой цивилизации.
Мозги стабильно затянуты паутиной снов.
Чувства укрыты снегом текущих желаний.
Только мужчины, что иногда берут нас за руку,
Не спросив на то разрешенья, знают,
Что на самом деле находится под перчаткой.
Скажем им спасибо хотя бы за это.

Марево, що бринить
Наче людська юрба,
Марево, що мигтить,
Аж у в очах стриба.
Марево — то мій зір,
Марево моря й гір,
Сонце цілує сніг,
Марево мрій моїх.
Марево — то ти є
Ти — то марево днів,
Марево лиш моє,
Змінлива розкіш снів.

Ты не нравишься мне как мужчина.
Ты не нравишься мне как человек.

Юлія Сtirкіна

Ты не нравишься даже — о, кощунство! —

Как композитор.

А как певец ты мне вообще не нравишься.

Просто, когда я смотрю в глубину твоего правого зрачка,

Мне кажется, что я еще даже не родилась,

А на дворе где-то так средне-мезозойская эра.

Если мы замечаем вдали друг друга,

То прячем глаза, точно страшно бывает проснуться,

И увидеть, как ярко бушует огнями,

Маячит и манит хвост синей птицы.

Если

Прибой толпы

Выносит меня на тебя,

Точно волну на камни,

И мы

Не успеваем захлопнуть души,

Повернуть ключи, задвинуть засовы,

Заизолировать

Проржавевшие за жизнь провода,

Эти яркие синие перья

Пронзительно сияют из всех щелей,

Лезут в нос, в уши, щекочут чувства и нервы,

Потрескивая остаточными электрическими разрядами.

Тень доверия, надежды, счастья,

Сочувствия, понимания, нежности,

Сострадания, внимания, любви самой

Ты сегодня увидел мельком. Что ж

Смотришь так, будто видишь

Нечто еще живое?

Смотри, и так будет.

Смотри, и да будет так.

1994-1997

Ода Мастеру

Собралась я, ей-Богу, умирать,

И думала, что не вернусь обратно,

Что с этой койки мне уже не встать,

Что жить, дышать и есть — невероятно.
Когда меня забрали на укол,
Я думала, что не увижу света,
Когда легла на этот жуткий стол,
Мне показалось, что приснилось это.
Болтая под ножом, как никогда,
Я думала — последний раз болтаю.
Когда б не Вы, не ваша красота,
Давно бы я стучалась в двери Рая.
Ведь в женщинах особенная статья,
И медицине тут не все подвластно:
Не могут, хоть зарежьте, умирать,
Когда им кто-то нравится ужасно.
Так в чем же избавление от мук?
Вот основная самая причина:
Нет смысла умирать, когда хирург
Такой обворожительный мужчина.
Но это все, конечно, ерунда,
Вы мастер — только в этом суть спасенья.
Но будь Вы женщиной — тогда... Как знать...
Небытие, выздоровленье -
Мне было все равно.
Но Вы, Вадим!
Ну как возможно быть таким красивым!
Таким веселым добрым и простым,
Таким всепонимающим и милым!
Спасибо Вам! Веселым огоньком
Вы зажигаете людские лица!
Спасибо Вам, что на меня мельком
Упал Ваш луч — на смятые страницы.

Больничная трагикомедия

Вы, верно, вшили мне магнит в живот,
Настроенный на Вас и на больницу:
Глубь коридоров, лестничный пролет,
В который раз мне снова ночью снится.
Там сетка комплексов, пожалуй, в первый раз
Вдруг прорвалась. Наркотики открыли
Свободу чувств. Там видела я Вас.
Там каждый день в палату Вы входили.
Я помню высоту больничной койки,
Шуршанье тараканов, свет луны,
Грязь туалета и столовой стойку,

Холодную тревогу тишины.
Я мазохистски вспоминаю муки,
Когда от боли челюсти свело,
Кровь на полу, исколотые руки,
Весь треп соседки и ее тепло.
Рисунок на линолеуме, тьма,
И монастырь в окно сквозь синий ветер,
Огни домов, деревья, тишина,
И я одна не сплю на этом свете.
Уже глаза мои слезились,
О том, что завтра уходить,
И Вы хронически мне снились,
И не могла себе простить,
Что в первый раз тогда не встала,
Что мой не разошелся шов,
Всю ночь я слезы утирала
В горячей суматохе снов.
Когда ушла я, лучше Вам не знать,
Что именно тогда со мною было,
Сама не в состоянии понять,
Но до сих пор больницу не забыла.
Казалось мне, что я сошла с ума,
Что поддалась бушующей стихии,
Хотя, конечно, знала и сама —
Влюбленность — только вид шизофрении.
Виной тому Ваш взгляд, и отрешенность,
И выражение этих странных глаз...
Возникла обреченная влюбленность.
На 9 дней? На жизнь? На миг? На раз?

Шпионское (совершенно секретно)

Мне страшно эта улица знакома,
До трещинок люблю кирпич любой:
Здесь часто Вы уходите из дома,
Здесь иногда Вы ходите домой.
Мороз ли, дождь — не все ли мне равно?
Я прирастаю к прогнутой скамейке.
Мне наплевать, что все прошло давно,
Мне наплевать, что есть у Вас семейка.
Вот час, и два, и три. Не пропустить.
Я погружаюсь медленно в дремоту.
Вы, с ней! Пытаюсь тщетно заглушить
Звонящую во мне глухую ноту.

Вы, с ней! Конечно, это просто так:
Вы для любовниц совершенны слишком.
Мне кажется, что это все пустяк,
Смотрю, тащусь, бездумно, как мальчишка.
Вот разошлись. Как пуля из ствола,
Вы просвистели через перекресток,
Иду я следом. Пред глазами мгла,
Ваш силуэт плывет светло и просто.
Ах, черт! Машина! Потеряю Вас!
«Нет, я не сумасшедшая, простите!
Простите, это правда, в первый раз!»
«Вы, девушка, на кладбище спешите.»
Упало сердце: скрылись Вы куда-то.
Бегу, вильнув от пьяницы бедром...
Ах, да, я здесь уже была когда-то...
Вот эта улица, вот этот дом...
Над розами усталый профиль плыл.
Второй подъезд. Жду несколько минут.
«Но, детка, он тебя давно забыл...»
Мне все равно. Напомню как-нибудь.
Довольно смело я вхожу в подъезд.
Темно в глазах... Фамилии на списке.
Конечно, нет! Конечно, нет! Но — есть!
Чекини... Потолок висит так низко.
Квартира 25. Иду наверх.
Дрожат колени, сердце зажимаю.
Да-да, вот эта низенькая дверь —
Ворота ада, или, может, рая.
Иду назад. Из дома позвоню:
Услышать голос Ваш в пустой квартире.
Есть даже телефон. Его храню,
Как некий талисман в безумном мире.
Без страха набираю номер Ваш.
«Алло!» Вы, Вы! И я бросаю трубку.
Больница, наркотический мираж.
Все кончено. Я гибну не на шутку.
Я знаю — это глупо, некрасиво...
Клянусь — иначе я не в силах жить.
Без Вас весь мир мне кажется фальшивым.
Без Вас, ей-Богу, нету смысла быть.

Она

Она долго ждала в близлежащем парке,
Потеряв пространству и времени счет.
Было душно, светло и ужасно жарко
Целый день под зеленым шатром напролет.
Силуэт его светлый, черные волосы,
Она точно почувствовала где-то вдали,
Забелели в глазах горящие полосы,
Ангел ввысь взлетел из густой пыли.
Она шла за ним изгибами города,
Вспоминая все то, что дорого ей.
Она шла за ним без причин, без повода,
Вспоминая жизнь в театре теней.
Она шла за ним по родному городу,
Подбородок задрал до самых небес,
На моторе, без мысли, похожа на робота,
Она шла за ним через улиц лес.
А потом она долго стояла у двери,
Чуть коснувшись пальцем ручки дверной,
И никто, и никто бы не смог поверить,
Что она когда-то была другой.
И счастливая тем, что видела Бога,
Она тихо и медленно шла домой.
Были чудно прекрасными пыль, дорога,
Даже рынок, и тот казался родной.
Так прошло много дней без тени тревоги,
И казалось — чувство скоро забудется...
Но все так же вперед, напролом, без дороги,
Она шла за ним по знакомым улицам.

Мне надо видеть Вас. Я вся — озноб,
Озноб, и бред, и темный мир видений.
Мне надо остудить горячий лоб,
Мне надо стать пред Вами на колени.
Мне надо видеть Вас. Я приросла
К сиянью синих глаз, к прохладе пальцев,
В больнице я горела, я была,
Хоть и жила среди немощных страдальцев.
Мне надо видеть Вас. Меня уж нет.
С ума схожу, собою не владею.

Мой светлый образ, грешный мой сонет,
Я б душу отдала, чтоб быть твоею.

Спасибо, Господи, ты мне
Дал встретить этого мужчину.
Ты дал мне сущность, цель, причину
Хоть это ныне не в цене.
Спасибо, Господи, тебе,
За эти муки и страданья,
За доброту и состраданье,
За теплый луч в моей судьбе.
Спасибо, Господи, тебе,
Ты дал мне прелесть идеала,
Ты дал мне право жить сначала,
Забыв о прошлом, о себе.
Спасибо, Господи, тебе,
За неба синие просторы,
За солнца свет, за этот город,
За силуэт в людской толпе.
Спасибо, Господи, за все,
Хоть это все — такая малость,
Но это все, что мне осталось,
Спасибо, Господи, за все.

Исповедь начинающего Штирлица в 3-х сонетах.

Пусть я завтра схвачу ангину,
Но сегодня довольна собой:
Вы сверкнули в стекле магазина
Недоступно — далекой звездой.
Я легко выпрямляю спину:
Этот схваченный миг — он мой,
Гордый профиль возьму в картину,
Легкий шаг унесу с собой.
Совсем не сложно угадать,
Зачем торчу я здесь:
Чтоб жить, мне нужно точно знать,
Что Вы на свете есть!
Как заклинанье, я шепчу напрасно:
Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Я не мешала никому,
Когда смотрела за стеклом,
А для чего и почему,
Скажу — когда-нибудь потом!
И не мешала я ему,
Когда стояла за углом.
А почему? Ему — кому?
Скажу — когда-нибудь потом!
А если вдруг узнает он
Застывший силуэт,
Виденье скроется, как сон,
И никого уж нет.
Едва ли может навредить виденье,
Мешать едва ли может поклоненье.

Казалось мне, что кончен сон дурной,
Что позабыт и богом, и людьми,
И вот возникли Вы. Такой, такой —
Черт Вас возьми, Вадим, черт Вас возьми!
Вас не заметить может лишь слепой
О Боже! Ожиданьем не томи!
Но тут мелькнули Вы в толпе людской —
Черт Вас возьми, Вадим, черт Вас возьми!
Точеное нерусское лицо
И отрешенных глаз небесный дым...
Я с горя пью домашнее винцо...
Черт Вас возьми, Вадим, черт Вас возьми!
Единственный, кто мне тогда помог.
Храни Вас Бог, Вадим, храни Вас Бог!

За все, за все прошу у Вас прощенья:
За то, что бьюсь я в запертую дверь,
Пишу стихи из роз и восхищенья,
И мучаюсь, как одинокий зверь.
Простите хоть чуть-чуть мою наивность,
Мое отчаянье, мои стихи,
Мою затравленную агрессивность,
Мою борьбу и прочие грехи.
Для Вас не трудно быть моей иконой,

Моим кумиром, Богом, небом — всем —
Восторгом, хохотом, слезой соленой,
Пока до точки Вам не надоем.
Позвольте мне писать мои отрывки,
Позвольте рисовать мои мечты,
Позвольте совершать мои ошибки,
Во имя Вас, во имя красоты.

Я не хочу печалить Вас своей
Не нужной никому пустой любовью,
Моей печалью и тоской моей,
И повод не хочу давать к злословью.
А посему прошу меня простить
За то, что я люблю Вас так безумно,
За то, что я без Вас не в силах жить,
За то, что промолчать ужасно трудно,
За то, что каждый Ваш усталый шаг
Мне как глоток воды в июльском зное,
За то, что блики в черных волосах
Меня лишают воли и покоя,
За то, что я готова целовать
След Ваших ног на пыльном тротуаре,
За то, что не могу я ночью спать,
За то, что я живу в сплошном угаре,
За все, за все прошу меня простить,
И в голову не брать мой бред безумный.
Я просто так. Я просто, чтобы жить.
Я вылечусь и сделаюсь разумной.

Не может быть! Наверно, это сон,
Очередное мутное виденье.
В Октябрьском парке рядом я и он —
Быть может, час, а может, и мгновенье.
Не может быть! Я что-то говорю,
Язык зачем-то есть — так пусть болтает.
Что я мелю — не знаю... Но смотрю
В глаза его, и сердце замирает.
Не может быть! Сейчас туман спадет,
Остынет солнце и листва завянет,
Когда уйдет он, небо упадет,
Потухнет город, двигаться устанет.

Юлія Стыркіна

Не может быть! Он, кажется, сказал,
Что позвонит, что встретимся мы снова.
И все. На этом занавес упал.
Не помню ничего. Совсем. Ни слова.
О чем мы говорили? Ни о чем.
В ушах какой-то шум, какой-то ветер.
Запомнила лишь то, что мы вдвоем,
А остальное — ерунда, поверьте.
В чем смысл жизни? Это просто так:
Сидеть, смотреть на Вас и молча слушать...
Идти, сверяя с Вами быстрый шаг,
Чтоб двигались не фразочки, а души.
Все может быть! Конечно, кроме чуда.
Все может быть! Хоть час, хоть миг, хоть раз —
Судьба — в кулак, а счастье — отовсюду.
Все может быть у каждого из нас.

Спасибо Вам за то, что руку Вы,
Протянутую к Вам, не отрубили,
За теплый блеск склоненной головы,
За каждый миг, Что Вы со мною были.
Спасибо Вам за этот чистый сон,
За этот день, за это наважденье,
И за ресниц хрустальный перезвон,
За каждый шаг, за каждое движенье.
За искренность, добро и состраданье,
За то, что я еще во что-то верю,
За прелесть невозможного желанья,
За новый дар, за новую потерю.
За все, за все. За то, что Вы — такой,
Совсем такой, как я и представляла,
За мой давно утраченный покой,
За то, что время потекло сначала.
Я — бабочка, что молодость свою
Несет огню — лечу, не понимая..
Да, рану залечили Вы мою,
А может — растревожили, не знаю.

Моя жизнь

Моя жизнь — падение вазы —
Не разбиться ей никогда,
Вечно юношеская фаза,

Вечно светит чужая звезда.
Моя жизнь — ураганный вихрь,
Цепь безумий и неудач.
Карнавал еще не утих —
Так играй, похоронный плач!
Моя жизнь — это легкой бабочки стук
О сияние фонаря,
Это пестрая книга мук,
Мыслей, чувств, растраченных зря.
Моя жизнь — неудачный фарс,
Истерический дубль для близких,
Томик пьес, собранье гримас,
Дневники, рисунки, записки.
Моя жизнь всегда — от винта!
Гордость вдруг, неизвестно откуда,
Подростковых чувств простота
И наивная вера в чудо.

Солнце мокрое. Я иду.
Утро. Все еще спят. Прохлада.
Здравствуй, осень! Тебя не жду,
Но тебе все равно я рада.
Расцвели моим сердцем цветы
На газонах в октябрьском парке.
Август каплет, текут мечты,
В перерывах июльски жарко.
Бродит дождик в людской толпе,
Стало мокро, холодно ночью,
Прячут душу мою в себе
Облаков оборванных клочья.
Бесприютно брожу я вновь,
Ветром августовским влекома,
Растворяя свою любовь
В старой кладке Вашего дома.
И домой меня не зови, —
Отвергаю свой быт печальный.
Часовой осенней любви
Этот город провинциальный.

Темно и одиноко в старом доме.
Я свет включать не стану. Пусть темно.
Пусть дождь шумит. Пусть все сияет, кроме

Моей души. Я опускаюсь на дно.
Закрою двери и открою окна,
Не видя букв, царапая стихи.
А где-то люди движутся и мокнут
Поддавшись неизбежности стихий.
Дождь опрокинул небо в эти лужи,
В них засияли окна, фонари.
Два дня он лил. И, что еще похуже,
Без перерыва. С ночи до зари.
Шел дождь в моей душе. Блестели крыши,
Сверкал асфальт. Плыла водою ночь.
И только сердце не стучало тише,
И только боль не уходила прочь.
Состарюсь. Вспоминать подолгу буду:
Какими были лучшие деньки?
И вспомню, как потерянное чудо,
Четыре дня восторга и тоски.
Я в темноте сидела до рассвета,
Светил квадрат размытого окна,
Проснулось утро за домами где-то.
Дождь кончился. Настала тишина.
Сейчас, быть может, жизнь навек замрет,
Исчезнет город, дом, моя квартира,
Но к черту страхи! Дождик снова льет.
Потоп всемирный был началом мира.

Криминальное

Я — нищий!
У ног толпы городской,
Согнувшись, буду сидеть.
Молить: принеси мне, людской прибой,
Усталой походки медь.
Я — вор!
Я ворую Ваш легкий шаг,
Как дар летящих мгновений,
Ворую жесты для белых бумаг,
Обрывки Ваших движений.
Бродяга — я!
Пария! Небо - крыша мне!
Стены мои — кусты!
А вдруг мелькнут в прожаренном дне
Родного лица черты?
Я — шут!

Угодно ли станцевать?
А, может быть, что-то спеть?
За эти крошки — видеть опять,
За милостыню — смотреть.
Я — вор!
Я ворую Ваш быстрый шаг
И теплый дым сигарет...
Что сделали Вы, начинающий маг,
Со мною? Ответа нет.

Пессимистическое

Нам не дано быть вместе. Это ясно
Выходит из родства и душ, и тел.
Встречаться было нечего. Опасно
Переходить положенный предел.
Все это было слишком, слишком ярко,
Чтоб долго и размеренно пылать.
Скамейку унесли в Октябрьском парке,
И ничего не надо вспоминать.
Забудьте все. Любой огонь священный,
Сгорая, гаснет на краю земли,
И мой восторг коленопреклоненный
Забудьте. Не ищите роз в пыли.

Оптимистическое

Нам вместе быть нельзя. Обрюзгший мир
Сомнет любые бешеные страсти,
Здесь копоть дней осядет на кумир,
И в буднях испарится призрак счастья.
Любить хотите? Нам придется жить
Совсем не так, по-новому, иначе.
Раздвинуть веши, и лубок разбить,
И не искать обыденной удачи,
Мещанских благ, и тяжкого труда,
И точного пути в туманном месте.
А просто быть. Сейчас и навсегда.
Не там. Не то. Не так. Пускай — но вместе!

Сияние небес.
Сияние огня.
Холодный воздух. Лес.
Ты смотришь на меня.

В глазах моих темно,
Там искренность и ложь,
Горячка и вино.
Не надо. Пропадешь.
Смотри — не разглядишь,
Не разгадаешь ночь,
А попросту сгоришь,
И не смогу помочь.
А может быть, храним
Дурманом глаз моих,
Ты будешь тем одним
Оставшимся в живых.
Я расплету косу.
Теперь что Вад, что в Ад —
Горит костер в лесу,
И нет пути назад.
И пахнет от тебя
Знакомым и родным —
Страсть, говорят, слепа —
Глаза съедает дым.
Не на меня смотри —
Смотри, мой друг, вперед.
Костер еще горит,
Горит небесный свод.

Я Вас люблю — так больно, что порой
Мне кажется, что это только снится,
Что все попустит нынешней зимой,
Что лето никогда не возвратится.
Я Вас люблю так сильно, что порой
Мне кажется, что я себя теряю,
Что становлюсь совсем, совсем иной,
Чужую эту я совсем не знаю...
Я Вас люблю так сильно! И в огне
Хочу испепелиться без остатка,
Чтоб личного не дергалось во мне,
Чтоб не было ни тайны, ни загадки.
Я Вас люблю так странно, что, когда
Поверх костра глядите Вы в пространство,
Из дыма поднимаются тогда
Слова «всегда, навеки, постоянство».
Я Вас люблю так смутно, тяжело,

Теряю мир, рассудок мой мутится...
Но так случилось. Так произошло.
Для этого и стоило родиться.
Я Вас люблю так нежно, так светло,
Что хочется всю жизнь на Вас молиться.
За что, за что так круто повезло
Мне в этой жизни со 2-й больницей?
Я Вас люблю. Банальные слова.
Еще один окончился денек.
Костер погас. Примятая трава.
Вся жизнь моя, как тень, у Ваших ног.

До зуда тянет написать стихи:
О чуде, вдохновенье я молю,
Но, кроме откровенной чепухи,
Мне нечего сказать: Я Вас люблю.
Когда-то стих легко ложился сам
На белый лист, как только я велю.
Теперь пришел конец моим стихам,
Остался лишь рефрен: Я Вас люблю.
Мечтала я, что красотой строки
Любовный жар и жженье утолю —
Но снова в рифму лезут пустяки,
В глазах стоит туман. Я Вас люблю.
Я не способна подбирать слова
В тоскливом, жарком, бешеном хмелю.
Я помню все. Кружится голова.
Рассеяно пишу: я Вас люблю.
Понятно, сублимацией такой
Кого угодно в мире утомлю,
Сама уж засыпаю. Но рукой
Сквозь сон я вывожу: Я Вас люблю.

Царапаю я руки,
Царапаю стихи —
Не правда ли, от скуки, —
Какие пустяки!
Безудержно я плачу,
Уткнувши в стенку нос —
Окончилась удача
Романтики и роз.

Помучишься, поплачешь —
Судьбу не одурачишь,
Не вынудишь любить.
Смазливая грустнушка
Без правил и основ,
Все люди ей — игрушки,
Как строчки из стихов.
Весь мир ей пуст и пресен
Без ласки и вина,
Без музыки, без песен,
А Вы — это она.

Челентано

Ах, этот Челентано!
Горячий, как в кино,
И страстно и упрямо
Поет: Аморе но.
Кончается пластинка.
Возврата не дано.
Меняется картинка.
Теперь — аморе но.
Без Вас я умираю,
Не виделась давно,
И тоже повторяю
В тоске: аморе но...
Еще я не забыла,
Что значило оно —
То, что, конечно, было —
Хотя — аморе но!
Смеюсь, пою, рыдаю,
И с горя пью вино.
Забыть — не забываю,
Увы! Аморе но?

Письмо

Привет! Ну, как там насморк, как дела?
Как настроенье? Снова стоя спите?
Я только что с экзамена пришла,
Пишу письмо. Читайте, коль хотите.
Вчерашний день — один сплошной туман
В моей башке. Весь матерьял смешался
В один комок. А на столе — стакан.
Ей-богу, этот способ оправдался.
Весь день я у подружки пробыла,

Читали вместе, спали, ели, пили,
Смотрели «Клару». К вечеру была
Я в трансе от того, что мы учили.
В одиннадцать мне звякнула маман.
«Иди домой. Я за тобой скучаю»
И, опрокинув начатый стакан,
Я побрела домой. Надувшись чаю,
Болтали мы с отцом. Ругал меня:
Бутылки открываю неумело
(на дне болталась пробка). Показал,
Как надо верно делать это дело.
Потом до трех все фильмы посмотрели
С папашкой. Протеревши снегом очи,
Я бросилась учить. Уснула еле
Часам к пяти. А утром — ужас ночи:
Лицо опухло, голова болит,
Глаза не смотрят, сердце в пятках где-то...
Зато успех был вечером обмыт
К компашке неудавшихся поэтов.
Заеден апельсином и забыт
Со всем излишним грузом лишних знаний.
Когда мы выпьем, наша кровь кипит,
И сердце жжет тоска воспоминаний.
И сразу тянет подвиг совершить:
Мы в центре распугали всех прохожих
Своим шатаньем. Не могли простить
Нам наглые раскованные рожи.
А впрочем, все — гипербола одна:
Шампанского была бутылка только.
Я поклялась не пить без Вас одна.
Хоть повод был, но я держалась стойко.
Да, кстати, у меня бутылка есть
Французского шампанского. Не смейте
Сердиться на меня. Мы в Вашу честь
Ее бабахнем. Ждите. Не болейте.
Лечите насморк. Задирайте нос,
Который я люблю до полусмерти.
Наступит лето, кончится мороз!
Отогреванье неизбежно. Верьте!

Киса, я давно не видела...
Что, только два дня?
Что до меня,
Прошло столетие. Я Вас не обидела?

Нет?

Вы ведь такой серьезный мужчина

Только стоящая причина

Могла вас убедить

Отложить

Свидание на потом...

Впрочем, что говорить с умным котом,

Таким основательным и ответственным до основания –

Мне, посредственной?...

Нет! Не обращайтесь внимания,

Я спокойна,

Мне надо быть достойной

Высокой чести

Быть с Вами вместе:

По вторникам, четвергам и субботам.

Иногда.

А мои заботы...

Киса, это все ерунда...

Глупо жить для кого-то,

Ожидать чего-то...

Как считаете? Да?

Что? Конечно, Юлечка все понимает,

Но у нее иногда бывает.

Набегает.

Извините!

Мне не стыдно? Стыдно, Киса,

Любить актрису!

Бросьте бремя, пока есть время.

Шучу, шучу...

Ну, как умею...

Впрочем, не смею

Задерживать долее. До четверга.

В парке? В четыре?

В заснеженном мире

Умрет одиночество в четверг, в четыре.

Нет, я ничо. Seriously. Просто тоска.

Ну, что? Пока? Пока, пожалуй. Пока!

До четверга.

Стараюсь позабыть, что мир жесток,

Что полон зла, тоски и сожаленья,

Бросаю якорь. Я устала плыть.

Хотя б на день, на редкие мгновенья.

Я вижу пристань, ощущаю нить,

Которую так долго я искала.
Бросаю якорь. Я устала плыть.
Стоим пока у нового причала.
Вот здесь. Вот так. Я сразу поняла,
Устав от боли, одурев от скуки,
Что, может быть, всю жизнь свою ждала
Паденья в Ваши ласковые руки.
Да, может быть, я уплыву потом,
Смотреть одной, что в мире интересно,
Оставьте только мне в причале том
Одно мое — пустующее — место.
Я остаюсь. Здесь шифр к моей душе,
Здесь ключ к замку. Отдам канат причалу.
Я остаюсь. Еще. Пока. Уже.
Я остаюсь. Я странствовать устала.

Какая дурная погода...
Сожитель ушел на работу...
Костями скрипя еле-еле
Я греюсь в холодной постели,
С трудом подавляя зевоту...
Сожитель ушел на работу.
Возникла нехватка чего-то...
Чего!? Он ушел на работу?
Встаю, телевизор включаю
И всю душой отдыхаю
Одна, предвкушая субботу.
Сожитель ушел на работу!
Соседка по хате? Палате?!
А вот "Санта-Барбара". Кстати,
Отвлечься на что-нибудь надо.
И медленно тает досада
На редкую эту свободу:
Сожитель! Ушел!! На работу!!!

Кое-что о Солженицыне...

Он спит, растянувшись устало...
А я потихонечку встала
И слушаю пение птицы
В окне. Бывший зек Солженицын
На столике дремлет кухонном.
Теперь он оправдан законом
И назван писателем. Bravo!
В бородку смеется лукаво

И хочет устроить Россию
По-своему. Экий мессия!
Писал бы в научные книжки
Свои неплохие мыслишки,
Как оттиск суровой эпохи.
А впрочем, не так уж и плохи
Его эпохальные снимки:
Тоскливые эти картинки
И слог безнадежно заумный
С успехом читается шумным
За то, что отмечен страданьем.
Пусть так, но ни сил, ни желанья
Читать, когда в небе сиянье,
И нету железной решетки,
И дождиком пишутся сводки
В стекле. Распускаются почки,
Замедленно тянутся строчки,
Опять возвращаясь к началу:
Он спит, растянувшись устало...

Я крепко влипла. Я теперь жена.
Но это пустяки. Гораздо хуже,
Что я на самом деле влюблена —
Ну не смешно ли? В собственного мужа!
Да, в добровольном рабстве есть всегда
Приятное, нельзя не согласиться:
Партнер стабильно рядом, и труда
Не нужно, чтобы с ним совокупиться.
Ну, и альтернативы больше нет:
Все чувства достаются одному,
Любовь, как утро, стирка и обед,
Становится привычкой. Потому
В законном браке некий элемент
Присутствует — отсутствия свободы —
Ты вольно подписал ангажемент,
Но все же пленник собственной природы.
Как с разрешеньем тайного греха
Бесследно исчезает тайна страсти,
Так сказочка наивная плоха
О том, что есть законченное счастье.

Кровать как поле битвы: все белье
Хихикает. Смеется одеяло.

Когда случайно глянешь на нее,
Опять переживаешь все сначала:
Случайный взгляд, неосторожный жест,
Движенья тела, впечатленья кожи...
Счастливые семейства (если есть)
В теории Толстого все похожи.
Я с бородатым классиком пера
Не соглашусь, пожалуй, в месте этом.
Счастливыми мы были у костра,
Но быть женой — абсурдно для поэта.
Обыденщину доверять перу?
Стихи перемежать с унылым бытом?
Не знаю. Пусть скорее я умру,
Чем будет наша летопись забыта
Игривых волн, и ласковых небес,
И зимних звезд любовь и бесконечность.
Пусть вечно помнит опустевший лес
Когда-то нас сближающую вечность.

Дорогая! В 20 лет
Нет вопросов,
Есть ответ.
Может, это
Только тень
Ясной ночи
В тусклый день?
Дорогая! В 20 лет
Ты живая?
Или нет?

Все было странно,
Не очень просто:
Былые раны,
Ошибки роста.
Осенний полдень,
Январский ветер, —
Не слишком долго
Мы были дети.
Цветы и слезы,
Потоки страсти,
Мечты и грезы —
Эстампы счастья.
Но вместе поздно

Сошлись тогда мы —
Над нами звезды,
Под нами ямы.
Мое начало,
Его дорога:
Не слишком мало,
Не так уж много.
Бывал и раньше,
Бывал и прежде
Туман без фальши,
Мираж надежды.
Не так уж странно,
Скорее просто:
Былые раны,
Ошибки роста.

Мужчина спит, уткнув в подушку нос,
Давно решив свой жизненный вопрос,
Не проверяя опытность свою.
Тем временем тихонько я встаю,
Иду на кухню. Холодно и пусто.
Лишь тараканы прыгают в капусту.
В окне зима. Ночные небеса
Усеяны огнями. Как глаза
В чужую жизнь, прозрачно блещут окна.
Как слово не насилуй, не дано нам
Запечатлеть пространственную даль
Вот отчего на всех лежит печаль
Несоответствий с жизнью за окном.
Ведь если без одежды попадем
Мы в те сугробы, чувство красоты
Исчезнет без следа, и все мечты
Сведутся к литру водки или чаю,
Квартире, даже к старому сараю,
И бесконечность мира будет враг
Отныне и вовеки. Только так
Наш разговор с бескрайнею природой
Закончится. Да, всей людской породой
Мы бесконечно будем с ней делить
Власть, ей принадлежащую. Решить,
Кто победит, несложно. Я кончаю.
Кипит вода, и выпить чашку чаю
Хочу я в одиночестве, пока
Мужчина спит и видит облака.

Я люблю оставаться одна
Обдумывая день до дна,
Поджигая в банке окурки и спички,
И, тайком затягиваясь сигаретой,
Сознавать, что одна остается Луна,
Светя отраженным светом.
И об этом я рифмую слова,
Оставаясь плохим поэтом,
И плохой женой. За спиной
Остается мир, впереди — духовка.
Загорелись спички. Легко и ловко
Живет воровка: в законе летает птичка.
Кто допил мой бренди? Плоха привычка
Добавлять алкоголь в лекарства.
Полцарства за глоток ликера на душу вора.
Моя простуда в сочетании с чаем — озноб и чудо,
Ощущенье тумана в мозгах и желанья страсти.
А счастью не хватает ста граммов,
А, значит, туманов, неба, воздуха и печали,
Зноя, ветра, какой-то дали,
Где кружат продрогшие птицы.
Им не снится огонек небес,
А только мусорный ящик,
И объедки чаще, чем ширь пространства.
Пьянство — только бегство в небо от постоянства.
Каково творенье?! Догорели спички,
Ушло виденье. Нет сожаленья
Об отсутствии алкоголя и мужа:
В такую стужу
Я люблю оставаться одна,
Обдумывать жизнь до дна,
Рифмовать слова, зажигать спички,
Задавать вопросы, и по привычке,
Уходя в кого-то, когда-то, где-то,
Забываясь в жизни, искать ответы.

Люблю тебя — считай, что соглашаюсь
На медленную смерть, верней, на то,
Что по ошибке еще зовем мы жизнью —
Постоянство рабочих будней,
Беготни и пьянства.
Но о согласье этом пожалеть

Нет смысла. Нет надежды уцелеть —
С тобою, без тебя ли. И едва ли
Ты можешь ход событий изменить.
И надо жить, любимый. Позабыть о боли
Оставленных на мусорке детей,
И без затей
Забыть о том,
Чего когда-то так желалось:
Романтики, игры. Какая жалость
Что кончилось особенное лето
И началась обычная зима.
Дома и люди опустели. Бедный Киса,
Приобретя бездарную актрису,
Вы потеряли завтрашний покой.
Теперь Вы мой. Приобретенье спорно.
В окне темно, и холодно, и черно,
Горячей нет воды. Мои труды
По обустройству жизни бесполезны,
И все тихонько уплывает в бездну:
Стихи, колокола и шум реки.
Так далеки, невозвратимы ночи,
Только очи твои все также светят мне
Во тьме. Обыденность, мещанство, постоянство —
Вот все, что ожидает впереди тебя, меня.
Прибавь еще и бедность,
Любовь неразделенную к деньгам —
Себя продам, но деньги раздобуду.
И это чудо? Это наша жизнь?
Изобретать пути отъема денег, голодать —
Все от избытка бесконечных мыслей,
Не от нехватки сала. Я устала.
Немало было пройдено дорог.
Ты мне помог понять, что значит счастье.
Я поклоняюсь, значит — соглашаюсь
На медленную смерть, что по ошибке
Еще зовем мы жизнью.

Пополам, на середине
Я вишу одна отныне,
И встает в небесной дымке
Крест вчерашнего окна.
Задувает ветер в спину
Тем, кто здесь наполовину,
Тем, кто жизнь торгует с рынка

Или смотрит, как кино.
Ничего уже не мину,
Не согреюсь, не остыну,
Здесь на лезвии, на кромке
Все расписано давно.
На болоте? На вершине?
Посредине, посредине.
Кочки редки, краски зыбки...
Выбираться? Все равно...

На бумаге дра. Нам давно пора
Заглянуть друг-другу в глаза, но
Мы вступили в пай, и идет игра.
Не горит свеча, и в окне темно.
Если лекарство вредно,
Его изымают с продажи.
Сколько несчастных семей?
Ну-ка, в процентах сочти.
Даже сдвинуть штору нам будет лень,
Если в окна глянет скупой рассвет.
Просто свет погашен, и умер день.
Проигравших нет, и виновных нет.
Даже Колумбов табак
Многие нынче бросают.
Что же не бросят никак
Люди жениться у нас?
Только силы — встать. Только разум — знать.
И, спиной к спине повернувшись, вновь
Обрести покой, и найти печать,
И, закрыв себя, обрести — любовь.

Сколько вместе прожито, съедено и выпито!
Я теперь спокойнее, чем осенний лес.
Где ж ты, моя молодость, где ж ты, мое либидо,
Где ж ты, мой утраченный к жизни интерес?
Вот уже поистине — от простого к сложному:
Телевизор, мебель, стены и кровать.
Я б сменила стать свою на противоположную —
Боже, дай желание что-нибудь менять.
Затянулись раны, притупились чувства,
Голову закинешь — те же облака,
В праздник слишком суетно, в будни слишком пусто
В прошлом одиночество, в будущем тоска.

Юлія Стыркіна

Изредка меняется за окном природа:
Улицы, аптеки, люди и дома,
Сумерки, рассветы, ночи — год от года.
Глянь-ка, что там нынче? Надо же, зима...
Все костры погашены, все счета оплачены.
Лечь бы да забыться, только водит бес.
Слезно усмехаемся, сквозь улыбку плачем мы —
Ах, как обесцветился жизненный процесс.

Когда внезапно позовет
Декабрьский ветер в ночь,
Долги оставь. Ступай вперед,
Беги из дому прочь.
Пусть ветер рвется на губах,
И волосы звенят.
Тебе дано свершать в веках
Задуманный обряд.
И если дырки пальцы жгут,
А душу — пустыри,
Остановись, и бег минут
Со щек своих утри.
Ты жил в столетьях, и давно
Потерян был покой:
Смотри — висит в ветвях окно
Загубленной душой...
Забудь, кто ты. Пускай другой
Твою таскает тень.
Здесь только ветер за спиной,
Здесь только ночь и день.
Забудь себя, как страшный сон,
Не думай о былом.
Здесь только ты, и только Он —
Свиданье с Декабрем.

Доисторические

Это были качели — от сада до школы,
Сядешь и полетишь — только небо в глаза.
Из-под искры летящей и легкой воздушной гондолы
Шел ковер из цветов и фантаны — вода как слеза.
Это было во сне, солнце било в глаза, я рыдала,

И летели качели, и небо летело во мне.
Снова плавно качели взлетают, и света им мало,
И уходят цветы из-под ног, пропадая во мгле...

Не раскрывайте чувств своих
Ни маме, ни жене, ни другу.
Не открывайте никому
Души таинственную вьюгу.
Не раскрывайте чувств своих,
Вам с кровью их вернут обратно.
Снаружи лик пусть будет тих,
Внутри — огонь горит стократно.
Не доверяйте никому,
Вам это не простят, поверьте,
Не говорите о любви,
О жизни, о судьбе, о смерти —
Себе оставьте что-нибудь.
И для грядущей вашей тризны
Оставьте тот последний путь,
Куда уйдете вы от жизни.
Не доверяйте чувств своих...

Один, один — и царь, и нищий!
Рабы условленной судьбы,
Мы не отыщем тайны чище,
Чем эти рамы без резьбы.
Чем эти раны — на полотнах,
Чем этот свет — издалека,
Вдруг возникающий бесплотно
Из пустоты, из пустяка.
И виден берег за краями
Необработанной сосны,
Где жизнь — без нас, где мы — не с нами,
Где не ни власти, ни страны, —
Есть только цвет первоначала,
Цвет эмбриона, цвет ядра,
В его конце — его начало,
В его трагедии — игра.
Мне в книгу отзывов и жалоб
Об исповеди — не писать.
На свете знаков слишком мало,
Чтоб эту душу рассказать:
Хандра, февраль, виденье лета,

Слиянье сфер — огонь, вода —
Один, как перст, в глубинах цвета
Он жив — тепер и навсегда.

Ах, откуда засветилось
Столько месяцев на клене?
Ветки рвутся в новолунье
И качаются от сна.
Ах, простите, это листья
В золотистом перезвоне,
Опьянев, трезвонят в синьку
Институтского окна.
Эти листья вымыл дождик,
Стало золото прозрачным,
Только бархат черных веток
Протекает сквозь листву.
Без осенних этих кружев
Сразу станет небо мрачным,
Но без мрака, как без света,
Я едва ли проживу.
Наконец-то я свободна,
Каждый день пою как песню,
Наконец-то я свободна, я свободна, я одна,
Растворяется реальность, мир видений все чудесней,
Я свободна, одинока, и красива, как Луна.
Ведь, влюбляться не умея,
Каждым чувством я болею,
Как прекрасно быть здоровой
И любить себя одну!
Я нисколько не люблю Вас,
Я Вас попросту жалею.
Я свободна, я красива — помолитесь на Луну.

Чеканный профиль вижу
Я в полутемном зале,
Мне хорошо и грустно
Не думать ни о чем.
Кого-нибудь обижу...
Простите, я устала.
О Боже мой, как тускло
Блестит небес проем.
Смуглый профиль,
Настоянный на августовской вишневке,

Я просто хочу попробовать,
И спирт ощутить языком.
Никого не любя,
Просто хочу улыбаться
Губ уголком.
Пить теплоту агатовых ваших глаз.
Может, раз,
Но понять, из чего Ваши сделаны губы.
Пусть слова мои грубы,
Но чувства мои тонки.
И блестят белки
В полутемном огромном зале.
Вы устали. А я — я Вас просто хочу.
На плечах голубых ощутить Ваши теплые руки.
Просто жить я люблю до муки,
Просто жить, и дышать, и пить,
И дыхание в ветер лить.
Может быть, Вы однажды решите
Дать мне руку поцеловать —
Буду делать все, что хотите,
И пойму все, что нужно понять.
Только дайте погладить кожу
И влюбиться в ее тепло
Вы такой же, как все — хороший.
Просто жить мне на свете — светло.
Просто хочется пить наливку,
Есть икру, целовать цветы,
Мять траву, и делать ошибки,
И, заснув, валиться в кусты.

Весна! Я снимаю шапку,
И кудри пахнут водой,
И кошки на мягких лапках
Бегут на чердак трусцой.
Весна! Я смотрелась в лужи,
Раскосая радость глаз.
Прошла последняя стужа,
В последний, в последний раз.
Любовь! Торжество природы!
Я снова стою у окна.
Впервые за долгие годы
Ко мне вернулась весна.
Калейдоскопная жизнь,
Краски кружатся листьями,

И разбираться в себе
Я не хочу сейчас.
И бытия трагизм
С чувственностью неистойвой
Можно смешать в судьбе,
Может быть, только раз.
Ночь переходит в день,
Медленно гаснут пожары дня,
Будущее — как тень,
Отблеск от вечного огня.
Я повторяю беспечно
В туманах горячих снов:
О, только бы солнце вечно
Вставало из-за домов.
О, только бы вечер снова
Сменялся ночной тишиной,
И день начинался новый,
И жили бы мы с тобой.

Моя душа опять стучится в клетке
И рвется улететь за облака.
С рассудком я теперь общаюсь редко,
Походка извивающе-легка.
Не вижу ни обмана, ни предательств,
Ни грязи, ни ругательств — ничего.
Дитя весны, погоды, обстоятельств —
И замирает мир в глазах Его.
Нет, я не умерла! Я буду жить,
Еще чуть-чуть! Еще одно мгновенье!
Я создана была, чтобы любить,
Чтобы ловить людей и впечатленья.
И я поймаю. Правда, я клянусь,
Что утолю я жажду наслажденья.
Катись подальше, ласковая грусть,
Катись подальше, холод пробужденье.
Я улетаю. Остаются снизу
Обрывки мыслей, писем, чувств, стихов,
Я ухожу — без вызова, без визы,
Туда, где в небе движется любовь...